

АЛЕКСАНДР ДЮМА

Графиня де Шарни



ТОМ 1

Записки врача

Александр Дюма

Графиня де Шарни. Том 1

«Азбука»

1855

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Дюма А.

Графиня де Шарни. Том 1 / А. Дюма — «Азбука»,
1855 — (Записки врача)

ISBN 978-5-389-34411-2

«Графиня де Шарни» – историко-приключенческий роман Александра Дюма, автора «Трех мушкетеров», «Королевы Марго» и многих других всемирно известных произведений. События романа разворачиваются на фоне одного из самых бурных периодов истории Франции – Великой французской революции. Светское общество Парижа сталкивается с яростью толпы, старые порядки рушатся, уступая место новому, кровавому миру, где брат идет на брата, а тем, кто пытается сохранить честь и достоинство в хаосе перемен, грозит гибель... В водоворот драматических событий, ворвавшихся в жизнь графини Андреа де Шарни, оказываются вовлечены многие реальные исторические деятели, в числе которых Людовик XVI и Мария-Антуанетта, принцесса Ламбаль, граф Калиостро, Мирабо, Лафайетт, а также персонажи Дюма, уже знакомые читателям благодаря романам «Жозеф Бальзамо», «Ожерелье королевы» и «Анж Питу». Впервые в России роман печатается в сопровождении замечательных иллюстраций Станислава Гудечека, дополненных работами французских иллюстраторов конца XIX – начала XX века. В первый том вошли первая и вторая части романа.

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-34411-2

© Дюма А., 1855

© Азбука, 1855

Содержание

Предисловие	9
Часть первая	15
Глава I	15
Глава II	21
Глава III	28
Глава IV	35
Глава V	45
Глава VI	52
Глава VII	60
Глава VIII	65
Глава IX	70
Конец ознакомительного фрагмента.	73

Александр Дюма Графиня де Шарни. Том 1

Alexandre Dumas
LA COMTESSE DE CHARNY

Перевод с французского
Элеоноры Шрайбер (предисловие, часть первая),
Елены Баевской (часть вторая)

© Е. В. Баевская, перевод, 2026
© Издание на русском языке, оформление
ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

* * *







Графиня де Шарни

ТОМ 1



Предисловие

Те из наших драгоценных читателей, что уже, так сказать, отделились нам во власть; те, что следуют за нами повсюду; те, коим хочется, даже в самых заблуждениях его, не расставаться с человеком, что, подобно нам, поставил себе столь любопытную задачу – перелистать, страница за страницей, историю французской монархии, – те, прочитав слово «конец» внизу последней части «Анжа Питу» в газете «Ла Пресс», а затем внизу последней страницы восьмого тома того же произведения в издании «Кабинета чтения», уже, должно быть, поняли, что произошла чудовищная ошибка, на которую мы рано или поздно прольем свет.

В самом деле, возможно ли поверить, что автор – прежде всего притязующий, пусть незаслуженно, на то, что умеет писать книги по всем правилам литературы, как архитектор притязает на то, что умеет строить дома по всем правилам строительной науки, а корабел на то, что умеет строить корабли по всем правилам кораблестроения, – вдруг бросит, так сказать, свой дом на третьем этаже или свой корабль на марса-рее.

Но именно такая участь и постигла бедного «Анжа Питу», коль скоро читатель всерьез принял слово «конец», возникшее в самом интересном месте, то есть в тот миг, когда король и королева готовятся уехать из Версаля в Париж; когда Шарни начинает замечать, что его очаровательная жена, на которую он в последние пять лет не обращал ни малейшего внимания, краснеет, встречаясь с ним глазами и касаясь рукой его руки; когда Жильбер и Бийо, воплощая собой один – народ эпохи, другой – ее гений, устремляют угрюмые взгляды в разверзшуюся перед ними революционную бездну, которую вырыли руки монархистов Лафайета и Мирабо, и, наконец, когда на пути из Виллер-Котре в Писле на коленях у бедняги Анжа Питу, скромного героя этой скромной истории, оказывается Катрин, лишившаяся чувств во время прощания с возлюбленным, который вдвоем со слугой уже несется галопом через поле в сторону большой дороги, ведущей в Париж.

А кроме того, есть в этом романе и другие действующие лица, пускай второстепенные, но мы уверены, что наш читатель и этим персонажам пожелал уделить частицу внимания, а мы, как известно, имеем привычку, выведя героев на сцену, следить за ними, в какие бы туманные дали их потом ни занесло, причем сие касается не только главных героев, но и второстепенных, вплоть до ничтожных статистов.

Тут и аббат Фортье, несгибаемый монархист, который наверняка не пожелает преобразиться в конституционного священнослужителя и скорей пойдет на казнь, чем присягнет.

Тут и молодой Жильбер, в котором в то время словно соседствовали две противоположные натуры, два элемента, в течение десяти лет сплавливавшиеся между собой, – демократический элемент, унаследованный им от отца, и элемент аристократический, присущий ему благодаря матери.

Тут и г-жа Бийо, бедная женщина, прежде всего мать, слепая, как все матери; она только что оставила свою дочку на дороге и одна возвращается на ферму; она и сама очень одинока с тех пор, как уехал Бийо.

Тут и папаша Клуис в своей хижине в чаще леса; он еще не знает, сумеет ли из того ружья, что дал ему Питу взамен старого, стоившего ему двух или трех пальцев левой руки, подстреливать, как из прежнего, сто восемьдесят три кролика и сто восемьдесят два зайца в обычные годы и сто восемьдесят три кролика и сто восемьдесят три зайца в високосные.

И наконец, тут и Клод Телье, и Дезире Манике, деревенские революционеры, – этих хлебом не корми, а дай во всем подражать революционерам парижским, но будем надеяться, что честный Питу, их капитан, майор, полковник – словом, начальник, будет руководить ими и держать их в узде.

Все сказанное может лишь укрепить читателя в его удивлении, возникающем при слове «конец», которое столь необъяснимым образом завершает последнюю главу, – ни дать ни взять древний сфинкс, усевшийся при входе в свое логово на дороге в Фивы и предлагающий беотийским путешественникам неразрешимую загадку.

Итак, сейчас мы все разъясним.

В недавнем времени газеты одновременно публиковали:

«Парижские тайны» Эжена Сю;

«Всеобщий символ веры» Фредерика Сулье;

«Мопра» Жорж Санд;

моих «Монте-Кристо», «Шевалье де Мезон-Ружа» и «Женскую войну».

Для романов с продолжением то было прекрасное время, но в смысле политики оно было не слишком удачно.

Кого в ту эпоху занимали первые лица Парижа, такие как г-н Арман Бертен, г-н доктор Верон и г-н депутат Шамболь?¹

Никого.

И люди были совершенно правы: ведь от этих злополучных первых лиц ныне и духу не осталось, а значит, заниматься ими не стоило.

Все мало-мальски ценное рано или поздно всплывает на поверхность, неизбежно прибивается к какому-нибудь берегу.

И только одно-единственное море поглощает все, что в него швыряют, – это море смерти.

Судя по всему, именно в его воды угодили первые лица Парижа образца 1845, 1846, 1847 и 1848 годов.

Потом, заодно с этими первыми лицами Парижа, вместе с г-дами Арманом Бертенем, доктором Вероном и депутатом Шамболом туда же вперемишку побросали речи г-д Тьера и Гизо, Одилона Барро и Беррье, Моле и Дюшателя²; и это огорчило г-д Дюшателя, Моле, Беррье, Барро, Гизо и Тьера ничуть не меньше, чем г-на депутата Шамболя, г-на доктора Верона и г-на Армана Бертена.

Зато, надо сказать, номера газет с «Парижскими тайнами», со «Всеобщим символом веры», с «Мопра», «Монте-Кристо», «Шевалье де Мезон-Ружем» и «Женской войной» читатели разрезали с величайшим тщанием; пробежав глазами поутру, их откладывали в сторонку, чтобы перечитать вечером; правда и то, что таким образом историки и просто люди узнавали историю; правда и то, что во Франции благодаря этим романам появилось четыре миллиона читателей; правда и то, что французский язык, с XVII века считавшийся языком дипломатии, в XIX веке стал языком литературы; правда и то, что писатель начал зарабатывать достаточно, чтобы сделаться независимым и ускользнуть из-под гнета аристократии и королевской власти; правда и то, что в обществе образовалась новая знать и новая власть – знать таланта и власть гения; наконец, правда и то, что в результате всего этого отдельные граждане стяжали такой почет, а Франция – такую славу, что было решено как можно энергичнее покончить с подобным положением дел, благодаря которому стал возможен подобный переворот и уважаемыми людьми во Франции стали люди, воистину заслуживавшие уважения, а признанием, славой и даже деньгами в стране стали пользоваться те, кто в самом деле был их достоин.

Итак, государственные мужи образца 1847 года замыслили, как я уже сказал, положить конец этому безобразию, но тут г-ну Одилону Барро, которому тоже хотелось, чтобы о нем заговорили, пришла в голову мысль не произносить более с трибуны своих превосходных и

¹ Бертен Луи Мари Арман (1801–1854) – французский журналист. Верон Луи Дезире (1798–1867) – французский публицист и политический деятель, по профессии врач. Шамболь Франсуа Адольф (1802–1883) – французский журналист. – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. перев.

² Буржуазные политические деятели эпохи Июльской монархии (1830–1848).

неподражаемых речей, а задавать скверные обеды в тех местах, где его имя еще пользуется почетом.

Надобно было как-нибудь назвать эти обеды.

Во Франции считается не столь уж важно, подходят ли предметам их названия, были бы лишь названия.

Соответственно, обеды эти были наречены реформистскими банкетами.

Жил в Париже в ту пору человек, который прежде был принцем, потом генералом, затем был изгнан, в изгнании был учителем географии, после этого совершил путешествие в Америку, а после Америки поселился в Сицилии; далее, женившись на дочери короля Сицилии, вернулся во Францию, а когда он вернулся, король возвел его в ранг принца крови; и наконец, возведенный Карлом X в ранг принца крови, он в довершение всего сделался королем.

И вот этот принц, этот генерал, этот учитель, этот путешественник, этот король – одним словом, этот человек, которого бедствия и взлеты должны были многому научить, однако ничему не научили, – этот человек задумал помешать г-ну Одилону Барро задавать пресловутые реформистские банкеты и принялся упорствовать в этом своем намерении, не подозревая, что замахнулся на принцип; а между тем любой принцип дается свыше, и, значит, он сильнее всего, что исходит снизу, точно так же как всякий ангел в борьбе одержит верх над человеком, будь этот человек хоть Иаков³, и само собой разумеется, что принцип снова одержал верх над человеком: Луи Филипп был посрамлен, несмотря на двойную череду царственных предков, на своих сыновей и внуков.

Ибо в Писании недаром сказано: «За вину отцов наказывают детей до третьего и четвертого рода»⁴.

Эта история наделала во Франции столько шума, что на некоторое время всем стало не до «Парижских тайн», «Всеобщего символа веры», «Мопра», «Монте-Кристо», «Шевалье де Мезон-Ружа» и «Женской войны», а также, надо признаться, и не до их авторов.

Нет, все интересовались Ламартином, Ледрю-Ролленом, Кавеньяком и принцем Людовиком Наполеоном⁵.

Но когда в конце концов восстановилось относительное спокойствие, все спохватились, что эти господа куда менее занимательны, чем г-н Эжен Сю, г-н Фредерик Сулье, г-жа Жорж Санд и даже моя скромная персона, замыкающая этот ряд; когда публика спохватилась, что проза этих господ, кроме Ламартина, конечно (да воздастся каждому по заслугам!), изрядно уступает и «Парижским тайнам», и «Всеобщему символу веры», и «Монте-Кристо», и «Шевалье де Мезон-Ружу», и «Женской войне», тут она обратилась к г-ну де Ламартину, воплощению французской мудрости, с просьбой писать прозу, причем отнюдь не политическую, а также к прочим авторам, в том числе и ко мне, с призывом писать литературную прозу.

Мы тут же принялись за дело, и можете поверить, что уговаривать нас не пришлось.

Тут опять появились романы с продолжением, а первые лица Парижа снова канули в безвестность; и те же говоруны, что говорили до революции, а также после революции, вновь принялись говорить, не находя отклика, и говорить они будут вечно.

Среди всех этих говорунов был один, который чаще все-таки помалкивал.

Все были ему за это благодарны, и, когда он шел с ленточкой депутата, люди ему кланялись.

В один прекрасный день он поднялся на трибуну... О господи! Я хотел назвать вам его имя, да позабыл.

³ Имеется в виду библейская легенда о том, как патриарх Иаков во сне боролся с Богом (Быт. 32: 22–32).

⁴ Вольное изложение библейского текста (Исх. 20: 5).

⁵ Ламартин Альфонс Мари Луи де (1790–1869) – французский поэт и политический деятель. Ледрю-Роллен Александр Огюст (1807–1874) – французский политический деятель. Кавеньяк Луи Эжен (1802–1857) – французский генерал, подавивший в июне 1848 г. восстание парижских рабочих. Принц Людовик Наполеон – племянник Наполеона I, будущий Наполеон III.

В один прекрасный день он поднялся на трибуну... Ах да, надо вам знать, что в Палате депутатов царило в тот день скверное настроение.

Незадолго до того Париж избрал своим представителем одного из тех людей, что писали романы с продолжением.

Я, кстати, помню, как звали этого человека.

Его звали Эжен Сю.

Итак, Палата пребывала в скверном настроении по поводу избрания Эжена Сю; ее скамьи и так уже пятнали своим присутствием четыре или пять писателей, и это было для нее невыносимой обидой.

Их имена – Ламартин, Гюго, Феликс Пиа, Кине, Эскирос⁶ и т. д.

Итак, депутат, чьего имени я не упомяну, ловко воспользовавшись скверным настроением, царившим в Палате, взошел на трибуну. Все сказали: «Тсс!» Все наострили уши.

Он сказал, что роман с продолжением послужил причиной

убийства Генриха IV Равальяком;

убийства маршала д'Анкара Людовиком XIII;

убийства Фуке Людовиком XIV;

убийства Людовика XV Дамьеном;

убийства герцога Беррийского Лувелем;

убийства Луи Филиппа Фьески

и, наконец, убийства жены г-на де Пралена ее собственным мужем⁷.

Он добавил:

что все супружеские измены, все взятки и вымогательства, а также все кражи совершаются по вине романа с продолжением и что стоит лишь запретить его или подвергнуть цензуре, как люди в тот же миг образумятся и, вместо того чтобы продолжать идти к бездне, обратятся вспять, к золотому веку, который воцарится очень скоро, если человечество проделает в обратном направлении столько же шагов, на сколько оно ушло вперед.

Генерал Фуа⁸ однажды воскликнул: «Когда звучат слова „честь“ и „родина“, во Франции раскатывается эхо».

Да, это правда, такое эхо звучало во времена генерала Фуа, мы, умеющие говорить, слышали его и очень рады, что мы его слышали.

– Где это эхо? – спросят нас.

– Какое эхо?

– Эхо генерала Фуа.

– Там же, где ныне прошлогодний снег поэта Вийона⁹; быть может, когда-нибудь оно отыщется – будем уповать на это!

Во всяком случае, в тот день – а это отнюдь не был день генерала Фуа – на трибуне зазвучало другое эхо.

Странное это было эхо; оно говорило:

⁶ *Пиа Феликс* (1810–1889) – французский писатель, журналист и политический деятель. *Кине Эдгар* (1803–1875) – французский писатель, историк, философ. *Эскирос Анри Альфонс* (1814–1876) – французский писатель.

⁷ *Равальяк Франсуа* (1578–1610) – убийца Генриха IV. *Маршал д'Анкр* (Кончино Кончини; ум. 1617) – итальянский авантюрист, фаворит Марии Медичи, супруги Генриха IV и правительницы Франции в малолетстве Людовика XIII. *Фуке Никола* (1615–1680) – генеральный контролер финансов при Людовике XIV, попал в опалу и кончил жизнь в тюрьме. *Дамьен Робер Франсуа* (1715–1757) – политический фанатик, неудачно покушавшийся на Людовика XV. *Лувель Пьер Луи* (1783–1820) – убийца герцога Беррийского Карла, наследника французского престола. *Фьески Джузеппе* (1810–1836) – террорист, неудачно покушавшийся на короля Луи Филиппа с помощью адской машины. *Прален Шарль Лор Юг Теобальд, герцог де Шуазель* (1805–1847) – французский аристократ, убивший жену, чтобы жениться на любовнице.

⁸ *Фуа Максимилиен Себастьян* (1775–1825) – французский генерал и политический деятель, выдающийся оратор либеральной оппозиции.

⁹ Посылка из знаменитой «Баллады о дамах былых веков» Вийона: «Где ныне прошлогодний снег?»

«Наконец пришло для нас время обескровить то, чем восхищается Европа, и продать по возможно более дорогой цене то, что всякое другое правительство, окажись оно на нашем месте, раздавало бы бесплатно, – гений».

Надо сказать, что это жалкое эхо говорило совсем не само за себя, а всего лишь повторяло слова оратора.

Палата, за немногими исключениями, эхом откликнулась на это эхо.

Увы! Вот уже тридцать пять, а то и сорок лет роль большинства заключается именно в этом. В Палате так же, как в театре, традиции играют подчас роковую роль!

И вот большинство согласилось с тем, что все кражи, все взятки и вымогательства, все нарушения супружеской верности совершаются под влиянием романов с продолжением; и что г-н де Прален убил свою жену; а Фьески убил Луи Филиппа; а Лувель убил герцога Беррийского; а Дамьен убил Людовика XV; а Людовик XIV убил Фуке; а Людовик XIII убил маршала д'Анкара, и, наконец, Равальяк убил Генриха IV исключительно под влиянием романов с продолжением, даже в тех случаях, когда сие происходило до рождения самого этого жанра.

Большинство согласилось, что необходимо ввести налог. Быть может, читатель не задумывался над тем, что такое налог, и задает себе вопрос, каким образом налог, то есть один сантим с экземпляра, может убить роман с продолжением?

Любезный читатель, один сантим с экземпляра, коль скоро роман ваш печатается в сорока тысячах экземпляров, – знаете, сколько это выйдет? Четыреста франков с каждого выпуска!

Это вдвое больше, чем платят авторам в тех случаях, когда их зовут Эжен Сю, Ламартин, Мери¹⁰, Жорж Санд или Александр Дюма.

Это в три или в четыре раза больше, если автор носит имя, подчас весьма почтенное, но не столь модное, как те, что мы перечислили выше.

Итак, ответьте мне, оправданно ли с нравственной точки зрения решение правительства обложить товар налогом, вчетверо превосходящим действительную стоимость товара?

Тем более что оспаривается право нашей собственности на этот товар, то есть на наш талант.

В результате ни одна газета, даже самая дорогая, не в состоянии больше покупать романы с продолжением.

В результате чуть не все газеты печатают репортажи с продолжением.

Что вы скажете, любезный читатель, по поводу репортажей в «Конститусьоннель»?

– Тоже мне чтение!

Что ж, вполне справедливо!

Вот именно, политикам только того и надо было, чтобы прекратились разговоры о литераторах.

Не говоря уж о том, что все это весьма способствует нравственному совершенствованию репортажа.

Мне, например, написавшему «Монте-Кристо», «Мушкетеров», «Королеву Марго» и т. д., предложили сочинить теперь «Историю Пале-Рояля».

Вот вам приблизительный итог подобных новаций:

С одной стороны – «Репортаж об игорных домах».

С другой – «Репортаж о публичных домах»!

Мне, человеку, в общем-то, верующему, недавно предложили «Репортаж о преступлениях римских пап»!

Мне предложили... Не смею пересказывать все, что мне предложили за последнее время.

Все бы не беда, если бы дело ограничилось тем, что мне предлагают *делать*.

¹⁰ Мери Жозеф (1797–1866) – французский писатель, друг Дюма.

Между тем мне предложено кое-чего *не делать*.

Как-то утром я получаю от Эмиля Жирардена¹¹ такое письмо:

Любезный друг!

Желательно, чтобы «Анж Питу» занимал не шесть томов, а половину одного тома и чтобы в нем было не сто глав, а десять.

Уладьте дело на свое усмотрение и урежьте книгу сами, если не хотите, чтобы этим занимался я.

Черт побери, мне все стало ясно!

У Эмиля Жирардена в залежах его архивов сохранились мои «Мемуары»; ему охота издать «Мемуары», за которые не надо платить налога, вместо «Анжа Питу», за которого надо платить.

Таким образом, были отвергнуты шесть томов моего романа – зато напечатаны двадцать томов «Мемуаров».

Так-то вот, любезнейший и дражайший мой читатель, идея была загублена на корню.

«Анжа Питу» задушили точь-в-точь как императора Павла I – не за горло, а поперек живота.

Но вы знаете по моим «Мушкетерам», которых дважды уже считали мертвыми и которые оба раза воскресали, что моих героев задушить куда труднее, чем императора.

А посему с «Анжем Питу» вышло то же самое, что с «Мушкетерами». Питу, который и не думал умирать, предстанет перед вами вновь, и я прошу вас в нынешнее время, исполненное тревог и революций, зажигающих столько факелов и задувающих столько светильников, не числить моих героев усопшими, покуда не получите траурного извещения за моей собственноручной подписью.

Да и тогда...

¹¹ Жирарден Эмиль (1806–1881) – французский писатель, публицист и журналист.

Часть первая

Глава I Кабачок у Севрского моста

Если читателю будет угодно ненадолго обратиться к нашему роману «Анж Питу» и, открыв второй том, заглянуть на мгновение в главу «Ночь с 5 на 6 октября», он обнаружит там несколько немаловажных подробностей, которые недурно было бы освежить в памяти перед тем, как приступить к настоящему повествованию, потому что оно начинается как раз с утра шестого числа того же месяца.

Мы процитируем здесь несколько строк из этой главы, имеющих важное значение, а потом как можно более сжато подытожим факты, коими необходимо предварить продолжение нашей истории.

Вот эти строки:

«Как мы уже сказали, в три часа все кругом стихло. Даже Национальное собрание разошлось, успокоенное рапортами приставов. Можно было надеяться, что до утра все будет спокойно.

Но не тут-то было.

Во время всех народных движений, ведущих к революциям, наступают такие передышки, когда кажется, что все уже позади и отныне можно спать спокойно.

Но это заблуждение.

За спинами тех, кто производит первые движения, прячутся те, кто ждет этих первых движений, ждет, когда передовой отряд удалится на покой, не желая идти дальше – быть может, от усталости, а то и удовлетворясь достигнутым.

И тогда эти невидимки, таинственные носители пагубных страстей, крадутся в потемках, возобновляют движение с того самого места, на котором оно застыло, и, толкая колесницу все дальше и дальше, к самому краю, готовят страшное пробуждение тем, которые проторили им дорогу и улеглись спать, полагая, что главное уже сделано и цель достигнута».

В книге, из которой заимствованы вышеприведенные строки, мы назвали по именам троих из этих людей.

Позвольте же теперь вывести на сцену, то есть к дверям кабачка у Севрского моста, еще одно действующее лицо, которого мы до сих пор не назвали, хотя оно сыграло важную роль в событиях той ужасной ночи.

Это был человек лет сорока пяти – сорока восьми, одетый, как одеваются мастера, – в короткие бархатные штаны, прикрытые кожаным передником с карманами, наподобие тех, какие носят кузнецы и слесари. Он был в серых чулках и башмаках с медными пряжками, на голове у него было нечто вроде мехового колпака, напоминавшего вполтину укороченную уланскую шапку; из-под колпака выбивалась буйная седеющая шевелюра, пряди которой ниспадали до необыкновенно густых бровей и вкуче с ними укрывали от света дня большие, навывкате, глаза, живые и умные, с таким переменчивым, ускользающим взглядом, что невозможно было установить, какого они цвета – зеленые или серые, синие или черные. Кроме них, на его лице обращали на себя внимание нос размером крупнее среднего, мясистые губы, белые зубы и смуглый загар.

Человек этот, хоть и невысокого роста, был необычайно ладно скроен; запястья у него были тонкие, ступни маленькие, и, не будь его руки покрыты темным загаром, как у мастеров

вого, привычного к работе с железом, легко было бы заметить, что кисти у него невелики и даже изящны.

Но стоило поднять взгляд от кистей к локтям и еще выше, туда, где под засученными рукавами рубахи вырисовывались могучие мускулы, можно было разглядеть, что при всей своей мощи мускулы эти были обтянуты тонкой, нежной и даже аристократической кожей.

Человек этот стоял перед входом в кабачок у Севрского моста, и на плече у него висело двухзарядное ружье, богато инкрустированное золотом, на стволе которого читалось имя Леклера, оружейника, как раз входившего в самую моду у парижских охотников-аристократов.

Нас спросят, быть может, каким образом столь прекрасное оружие оказалось в руках у простого мастерового. На это мы ответим, что в дни смуты – а мы, слава богу, видели, что это такое! – самое лучшее оружие попадает далеко не в самые холеные руки.

Человек этот около часу назад прибыл из Версаля и был великолепно осведомлен о том, что произошло, поскольку на вопросы кабатчика, подавшего ему бутылку вина, которой он даже не почал, дал такие ответы.

Королева едет вместе с королем и дофином; в путь они пустились около полудня; поселиться они в конце концов решили во дворце Тюильри, а значит, отныне в Париже хлеба будет вдосталь, потому что пекарь, пекарша и пекаренки в руках парижан.

А сам он, мол, ждет кортежа, чтобы поглазеть.

Это последнее утверждение было похоже на правду, хотя взгляд незнакомца с куда большим любопытством явно устремлялся в сторону Парижа, чем в сторону Версаля; это давало повод заключить, что он не считал себя обязанным давать полный отчет в своих намерениях достойному кабатчику, посмевавшему его расспрашивать.

Впрочем, спустя несколько минут любопытство его, казалось, было удовлетворено. На вершине холма, по которому взбиралась дорога, появился силуэт человека, одетого примерно так же, как он сам, и занимавшегося, судя по внешнему виду, тем же ремеслом, что и он.

Этот человек шагал, тяжело переставляя ноги, словно проделал уже долгий путь.

По мере того как он приближался, все легче было разглядеть его черты и догадаться о возрасте.

Он был примерно в тех же годах, что и незнакомец: можно было с уверенностью утверждать, что ему уже, как говорится в народе, сорок с большим хвостом.

Черты его лица свидетельствовали о заурядности, низких наклонностях и грубых замашках.

Незнакомец пристально вглядывался в него со странным выражением на лице, словно единым взглядом хотел оценить, много ли низости и злобы таится в сердце этого человека.

Когда мастеровому, шагавшему из Парижа, оставалось не более двадцати шагов до человека, поджидавшего его у кабачка, тот вошел в дом, плеснул из непечатой бутылки вино в два стакана, стоявшие на столе, и, подняв один из стаканов, приблизился к дверям.

– Эй, приятель! – окликнул он. – Погода студеная, дорога долгая; не пропустить ли нам вместе по стаканчику вина, чтобы поддержать силы да погреться?

Мастеровой, шедший из Парижа, огляделся по сторонам, словно желая убедиться, что приглашение относится именно к нему.

– Это вы мне? – спросил он.

– Кому же еще, скажите на милость? Тут больше и нет никого.

– И вы предлагаете мне стаканчик вина?

– А что такого?

– Вот оно что!

– Мы ведь одним ремеслом занимаемся, разве не так?

Мастеровой во второй раз глянул на незнакомца.

– Одним и тем же ремеслом могут заниматься какие угодно люди, – возразил он, – все дело в том, кто мастер, а кто подмастерье.

– Вот пропустим по стаканчику, побеседуем и все выясним.

– Что ж, будь по-вашему, – отозвался мастеровой, направляясь к дверям кабачка.

Незнакомец указал ему стол и кивнул на стакан.

Мастеровой взял стакан, заглянул в него с таким видом, словно налитое в него вино внушало ему некоторое сомнение, но сомнение его рассеялось, когда незнакомец налил себе второй стакан до самого краешка, как и первый.

– Ну, – осведомился он, – мы, что ли, слишком гордые и гнушаемся выпить с тем, кому ставим выпивку?

– Да нет, ей-богу, напротив. За нацию!

Серые глаза мастерового на мгновение задержались на человеке, провозгласившем этот тост.

Потом он повторил:

– Да, черт побери, это вы хорошо сказали: за нацию!

И он одним духом осушил стакан. Затем утер себе губы рукавом.

– Ишь ты, ишь ты! – вырвалось у него. – Бургундское!

– Причем отменное, верно? Мне хвалили это питейное заведение; я завернул сюда по дороге и не раскаиваюсь. Да вы присядьте, приятель, в бутылке еще кое-что есть, а кончится бутылка, так в погребе найдется другая.

– Вот как, – отозвался мастеровой, – а что вы-то здесь делаете?

– Да видите, иду из Версаля, жду кортеж, хочу вместе с ним вернуться в Париж.

– Какой кортеж?

– Да какой же еще, если не тот, с которым король, королева и дофин возвращаются в Париж, а с ними придворные дамы и две сотни членов Собрания под охраной национальной гвардии и господина де Лафайета.

– Выходит, наш буржуа решился переехать в Париж?

– У него не было другого выхода.

– Так я и думал нынче ночью, в три часа, когда отправлялся в Париж.

– Ах так! Вы пустились в путь в три часа ночи и покинули Версаль? И вам не любопытно было узнать, что там происходит?

– Отчего же, мне очень даже хотелось узнать, что будет с нашим буржуа, тем более что – не считите за хвастовство – мы с ним знакомы, да только сами знаете, работа прежде всего! Тут и жена, и дети, и кормить всю эту ораву надо, особенно теперь, когда королевской кузницы больше нет.

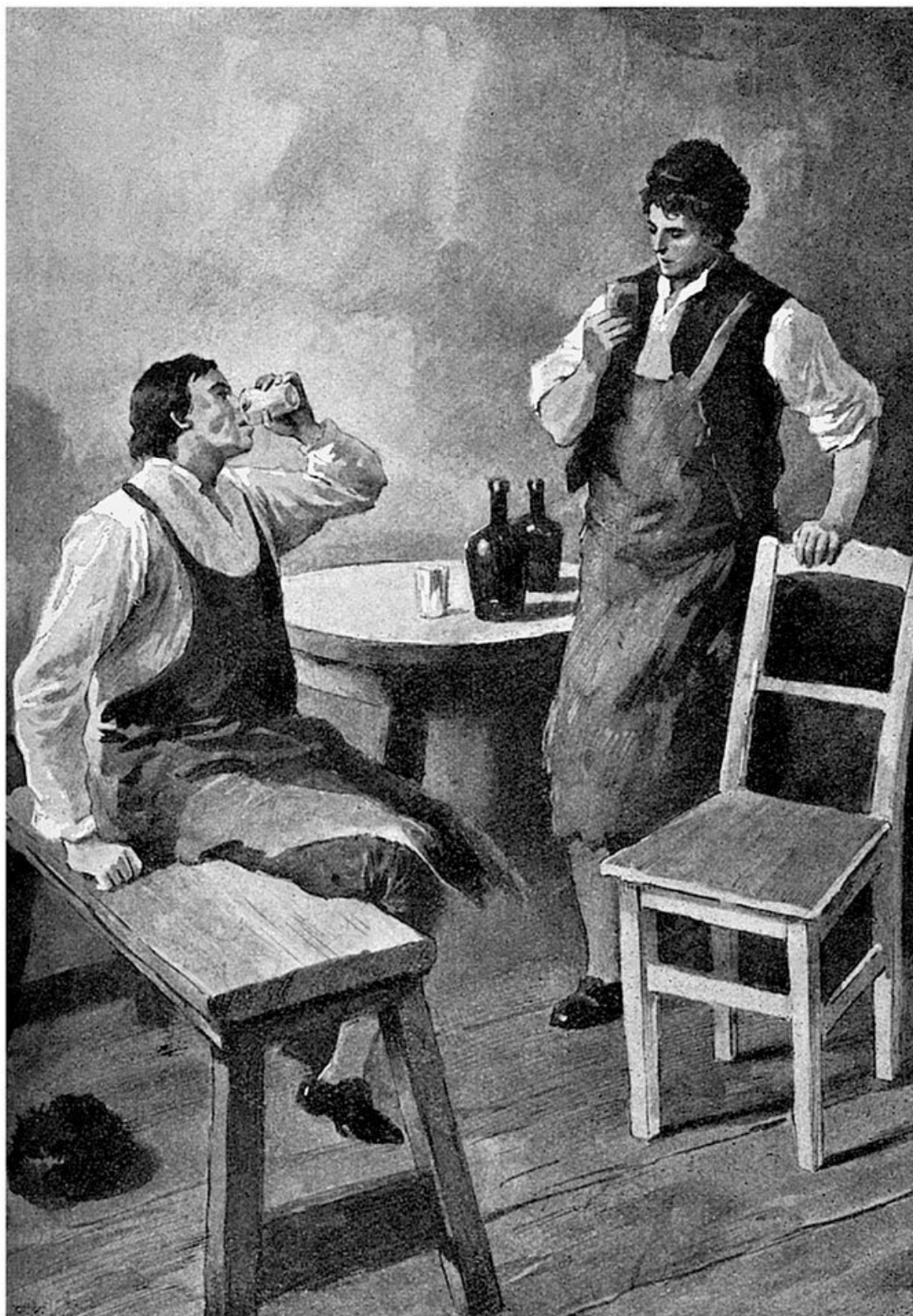
Незнакомец пропустил оба намека, никак на них не отозвавшись.

– Значит, в Париже вас ждала спешная работа? – продолжал он допытываться.

– Ну да, сдается мне, что так, да и заплатили недурно, – добавил мастеровой, позвеневав в кармане несколькими экю, – хотя со мною расплачивался простой слуга, что не слишком-то вежливо, да притом этот слуга еще и немец, так что с ним ни единым словом не перекинешься.

– А вы не прочь поболтать о том о сем?

– Да, чтоб мне провалиться! Если не злословить, то почему бы и не поболтать?



– А если и позлословишь, тоже не беда, верно?

Собеседники расхохотались, незнакомец при этом продемонстрировал белоснежные зубы, а мастеровой – гнилые.

– Итак, – подхватил незнакомец, который не торопясь, шажок за шажком, двигался в нужную сторону, – вы исполнили срочную работенку, за которую хорошо заплатили?

– Все так.

– Надо думать, трудная была работенка?

– Правда, трудная.

– Небось замок с секретом?

– Потайная дверь... Представьте себе дом внутри дома; если кому-нибудь придет нужда скрываться – понимаете, о чем я? – он там, но его как бы и нет. В дом звонят; слуга отворяет. «Хозяин? А его нет дома». – «Как бы не так. Здесь он!» – «Ищите, если угодно!» Те принимают за искателя. Да только держи карман! Нипочем они не найдут. Железная дверь аккуратненько прикрыта деревянной резьбой, понимаете? Поверх двери они наткнутся на слой старого дуба, так что железо будет не отличить от дерева.

– А если простукать?

– Еще чего! Когда поверх железа слой древесины в два пальца толщиной, этого хватает, чтобы звук был повсюду одинаковый. Тук-тук, тук-тук... Знаете что, когда все было готово, я сам не мог найти это место.

– Где же, черт возьми, вы все это делали?

– Вот в том-то и дело!

– Не хотите говорить?

– Да нет, не могу, потому как и сам не знаю.

– Вам что же, глаза завязали?

– Вот именно! У заставы меня ждала карета. Мне сказали: «Вы такой-то?» – «Да», – говорю. «Хорошо. Вас-то мы и ждем. Садитесь в карету». – «Мне в карету?» – «Да». Сажусь, мне завязывают глаза, карета катит с полчаса, потом распахнулись ворота, большие такие ворота, я споткнулся о первую ступеньку крыльца, поднялся на десять ступеней, вошел в вестибюль; тут выходит немец-слуга, говорит остальным: «Отшен корошо, ступайт фон, фы уше не нушны». Все, кроме меня, ушли. Он развязал мне глаза и показал, что надо делать. Я взялся за работу засучив рукава. За час все сделал. Мне заплатили полновесными золотыми луидорами, опять завязали глаза, усадили в карету и высадили там же, где подобрали, потом пожелали счастливого пути – и вот я здесь!

– И вы совсем ничего не видели, хоть краешком глаза? Черт побери, как туго ни завязывай глаза, всегда можно подглядеть в щелочку.

– Какое там!

– Да ладно вам скрытничать... Признайтесь, признайтесь, что подсматривали! – настойчиво произнес незнакомец.

– Ну, когда я споткнулся о первую ступеньку лестницы, я, воспользовавшись случаем, взмахнул руками и немножко сдвинул повязку.

– И когда вы сдвинули повязку... – с тою же настойчивостью подхватил незнакомец.

– Я заметил слева ряд деревьев и подумал, что дом стоит на бульваре, вот и все.

– Все?

– Честное слово, ничего больше!

– Это не слишком-то надежная примета.

– Еще бы: бульвары длинные, и от кафе Сент-Оноре до Бастилии много домов с большими воротами и крыльцами.

– Так что, вы бы не признали тот дом?

Мастеровой немного подумал.

– Нет, ей-богу, – сказал он, – это мне не под силу.

На лице незнакомца, избличавшем обычно только то, что он хотел показать, на сей раз отразилось удовлетворение.

– Подумать только, – неожиданно произнес он, словно направление его мыслей переменялось, – неужто в Париже уже слесарей не осталось, коль скоро люди, которым понадобились потайные двери, посылают за слесарями в Версаль?

Одновременно он до краев наполнил стакан своего собеседника и постучал по столу пустой бутылкой, давая понять хозяину заведения, что пора тащить полную.

Глава II

Мастер Гамен

Слесарь поднял стакан до уровня глаз и с удовольствием полюбовался на вино.

Затем отхлебнул и удовлетворенно заметил:

– Отчего же, слесари в Париже имеются.

Тут он сделал еще глоточек.

– Есть и мастера.

И снова отпил.

– Вот я о том и толкую!

– Да ведь мастера бывают разные.

– Вот как! – улыбаясь, заметил незнакомец. – Вижу, вы точь-в-точь святой Элуа¹²: не просто мастер, но мастер из мастеров.

– И самый главный мастер. Вы сами-то из нашего сословия будете?

– Более или менее.

– А кто вы?

– Оружейник.

– У вас при себе ваши изделия?

– Взгляните на это ружье.

Слесарь принял из рук незнакомца ружье, внимательно осмотрел его, попробовал пружины, кивком головы одобрил сухое щелканье курков, а затем, прочитав имя, обозначенное на стволе и на замке, сказал:

– Леклер? Не может быть, дружище! Леклеру лет двадцать восемь, самое большее, а нам с вами уже под пятьдесят подпирает, не в обиду вам будь сказано.

– Верно, – отвечал тот, – я-то не Леклер, да это все равно.

– Как так – все равно?

– Разумеется, все равно: я его учитель.

– Вот здорово! – со смехом вскричал слесарь. – Этак и я мог бы сказать: «Я не король, да это все равно».

– Как так – все равно? – повторил незнакомец.

– Еще бы, ведь я его учитель, – был ответ.

– Ну и ну! – воскликнул незнакомец, встав и шутливо отдавая честь по-военному. – Неужто я сподобился говорить с мастером Гаменом?

– С ним самим собственной персоной, – отвечал слесарь, польщенный впечатлением, которое произвело его имя. – Рад вам служить, чем смогу.

– Черт побери! – признался незнакомец. – Не думал я, что говорю с таким влиятельным лицом.

– Скорее, с таким значительным, хотели вы сказать.

– В самом деле, простите, – посмеиваясь, подхватил незнакомец, – но знаете, где уж бедному оружейнику говорить по-французски так же складно, как мастер, да какой еще мастер, – обучавший мастерству самого короля Франции!

Затем он продолжал уже другим тоном:

– Скажите-ка, не слишком-то это было приятно – учить короля?

– Да нет, отчего же.

¹² *Святой Элуа* (в лат. форме Элигий) (588–659) – искусный ювелир и золотокузнец, бывший также епископом и казначеем франкского короля Дагоберта I из династии Меровингов.

– Разрази меня гром! Надо было вечно разводить церемонии, ни поздороваться попросту, ни попрощаться?

– Ничуть не бывало.

– Небось приходилось говорить: «Ваше величество, извольте взять в левую руку вот этот ключ, а в правую руку, государь, благоволите взять этот напильник...»

– Вовсе нет, и потому-то иметь с ним дело было чистое удовольствие, ведь в душе он милейший человек, представьте себе. Придет в мастерскую, повяжет фартук, закатает рукава сорочки – и нипочем не скажешь, что это старший сын Людовика Святого, как его именуют.

– В самом деле, вы правы, король необычайно похож на совсем другого человека.

– Ага, вы тоже так считаете? Близкие к ним люди давно уже это приметили.

– Ну, если бы это приметили только близкие люди, оно бы еще ничего, – со странным смешком произнес незнакомец, – но это начали примечать главным образом те, кто держится от них подальше.

Гамен взглянул на собеседника с некоторым удивлением.

Но тот, почувствовав, что вышел из роли и неправильно истолковал слова слесаря, поспешил придать разговору новое направление, чтобы собеседник не оценил всей серьезности его намека.

– Тем более, – сказал он, – если такого же человека, как все, надо звать «государь» и «величество», – по-моему, это унижительно!

– Да в том-то и дело, что его не надо было звать ни государем, ни величеством! Стоило ему войти в мастерскую, и все это исчезало. Я его звал «хозяин», он меня «Гамен», только я с ним был на «вы», а он со мной на «ты».

– Но когда приходило время завтрака или обеда, Гамена отправляли подкрепиться на кухню, вместе с лакеями, вместе с челядью?

– Ничего подобного, вот уж ничего подобного, никогда такого не бывало; напротив, он приказывал, чтобы мне приносили накрытый стол прямо в мастерскую, а часто, особенно за завтраком, присаживался за тот же стол сам и заявлял: «Вот что, не пойду-ка я завтракать к королеве, по крайней мере, не придется руки мыть».

– Что-то я не совсем понял.

– Как! Разве не понятно, что король, когда работал вместе со мной и возился с железом, то руки у него, чтоб мне провалиться, становились такие же, как у всех нас? Это, конечно, не мешает нам оставаться честными людьми. А королева говорила ему с этакой своей ужимкой: «Фи, государь, у вас руки грязные!» Как будто после работы в слесарной мастерской руки бывают чистыми!

– И не говорите, – отозвался незнакомец, – впору слезы лить.

– Видите ли, в сущности, ему только там и было хорошо, там да в географическом кабинете, со мной и с библиотекарем, и сдается мне, что меня он все-таки любил больше.

– И все равно – что за радость быть учителем при неспособном ученике.

– При неспособном? – воскликнул Гамен. – Да что вы, дело обстоит совсем не так. Больше того, знаете ли, очень жаль, что он родился на свет королем и ему пришлось заниматься множеством всяких глупостей вместо того, чтобы работать и совершенствоваться в ремесле. Королем он всегда будет негодным – слишком честен! – а вот слесарем он был бы превосходным. Одного человека я просто возненавидел – так много времени у нас из-за него пропадало попусту: это господин Неккер. Сколько времени он отнял у короля, боже ты мой, сколько времени отнял!

– Со своими счетами, надо думать?

– Да, со своими счетами; все говорили, что они дутые и ничего не стоят.

– Ладно, дружище, а скажи-ка...

– Что?

– Такой высокопоставленный ученик – это, наверное, было выгодное дельце, а?

– Вот уж нет, тут вы ошибаетесь, и я за это в большой обиде на вашего Людовика Шестнадцатого, на этого отца Отечества, кормильца французской нации; все думают, будто я богат, как Крез, а я беден, как Иов.

– Вы бедны? На что же он в таком случае тратил деньги?

– Эх, половину раздавал бедным, другую богатым, а сам сидел без гроша. Все эти Куаньи, Полиньяки и Водрейли тянули соки из него, бедняги! Однажды он задумал уменьшить господину де Куаньи жалованье, а господин де Куаньи подкараулил его у дверей мастерской; король на пять минут вышел и вернулся весь бледный, сказав: «Ох, право слово, я думал, что он набросится на меня с кулаками». – «А как с его жалованьем, государь?» – спрашиваю. «Оставил прежнее, – ответил он. – А что мне было делать?» В другой раз он хотел выразить королеве неудовольствие по поводу шкатулки госпожи де Полиньяк, шкатулки с тремястами тысячами франков, вы только подумайте!

– Ничего себе!

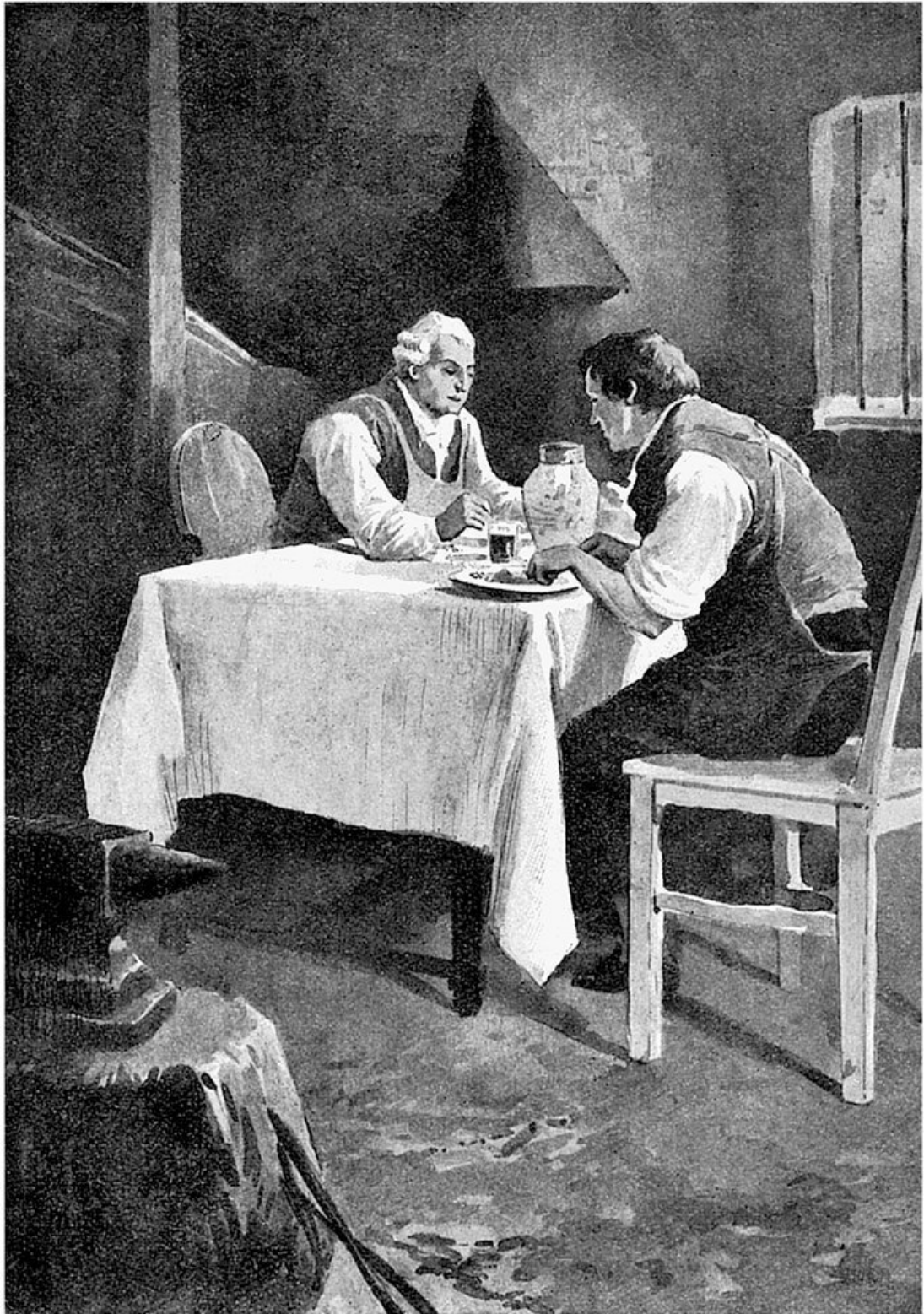
– Так вот, этого оказалось недостаточно: королева заставила его подарить ей шкатулку с пятьюстами тысячами! И теперь полюбуйте на этих Полиньяков: десять лет назад у них за душой не было ни гроша, а теперь они уехали из Франции с миллионами! И если бы они хоть были на что-то способны! Ну-ка, дайте всем этим пройдохам наковальню да молот, они не сумеют выковать и подковы, дайте им напильник, они вам и винт для замка не изготовят... зато они болтуны, сами себя называют рыцарями; они науськивали короля, а теперь пускай-де он сам выпутывается, как сумеет, вместе с господином Байи, господином Лафайетом и господином Мирабо; а меня, который мог бы дать ему столько добрых советов, захоти он их выслушать, меня он оставил с полутора тысячами ливров ренты – это меня-то, его учителя, друга, человека, вложившего ему напильник в руки!

– Да, но когда вы работаете вместе с ним, это все-таки приработок.

– Полноте, да разве я теперь с ним работаю? Во-первых, это не пошло бы на пользу моей репутации. С тех пор как пала Бастилия, я во дворец ни ногой. Разок-другой мы с ним встретились: один раз на улице былолюдно, и он ограничился тем, что просто кивнул мне. Другой случай произошел на дороге в Сатори, мы были одни, он велел остановить карету. «Ну здравствуй, бедный мой Гамен, – сказал он со вздохом. – Не правда ли, дела пошли совсем не так, как вам бы хотелось? Зато будете знать... – Тут он сам себя перебил. – А как жена, детишки, здоровы?» – «В полном здравии, только аппетит волчий, а так все хорошо...» – «Возьми, – сказал король, – это им от меня подарок». Перерыл себе все карманы и набрал девять луидоров. «Вот все, что у меня есть при себе, бедняга Гамен, – сказал он, – и мне очень стыдно, что я делаю тебе такой убогий подарок». И впрямь, согласитесь, в пору стыдиться: что это за король, у которого в карманах всего девять луидоров и который дарит своему приятелю, своему другу, девять луидоров! И тогда...

– И тогда вы отказались?

– Нет, я себе сказал: «Все равно нужно взять, иначе он повстречает кого-нибудь не столь совестливого, и уж тот-то возьмет!» Но как бы то ни было, беспокоиться ему не о чем, ноги моей больше не будет в Версале, если только он сам за мной не пришлет, да и то еще посмотрим.



- Благодарное сердце! – прошептал незнакомец.
- Что вы сказали?
- Я говорю, как отратно, мастер Гамен, видеть преданность, подобную вашей, сохранившуюся несмотря на удары судьбы! Последний стакан вина за здоровье вашего ученика!
- Эх, не заслужил он, право слово, да чего уж там! Ладно, за его здоровье! Гамен выпил.

– Как подумаю, – продолжал он, – что в погребках у него было больше двух тысяч бутылок, из которых худшая была вдесятеро лучше вот этой, а он ни разу не сказал своему лакею: «Такой-то, возьмите корзинку с вином и снесите моему другу Гамену». Да, конечно, ему больше нравилось, чтобы вино выдули его гвардейцы, швейцарцы да солдаты фландрского полка – и так оно и вышло!

– Чего вы хотите! – отозвался незнакомец, понемногу отхлебывая из стакана. – Короли вообще неблагодарны. Но тсс! Мы тут не одни.

В самом деле, тем временем в кабачок вошли трое – два простолюдина и рыночная торговка; они уселись за такой же столик, как тот, за которым незнакомец вместе с мастером Гаменом приканчивали вторую бутылку.

Слесарь перевел на них взгляд и стал рассматривать этих людей так внимательно, что незнакомец улыбнулся.

И впрямь, трое новоприбывших казались достойны некоторого внимания.

Первый из мужчин весь словно состоял из одного торса, второй был сплошные ноги. Что до женщины, то понять, что она собой представляет, было и вовсе не легко.

Человек, состоявший из одного торса, был почти карлик: росту в нем было не больше пяти футов; быть может, он выглядел еще на дюйм-другой короче из-за кривизны ног, колени которых соприкасались, когда он стоял, хотя ступни были расставлены. Черты его лица не столько смягчали это уродство, сколько усугубляли его: бесцветные сальные волосы словно прилипли к вдавленному лбу; неровные кустистые брови состояли, казалось, из сплошных клочков; глаза его почти всегда казались стеклянными; мутные, безжизненные, как у жабы, они лишь в минуты возбуждения загорались и метали пламя, как суживающиеся зрачки разъяренной гадюки; нос у него был приплюснутый, и тем сильнее выделялись торчащие скулы; довершая общее отталкивающее впечатление, в искривленном рту из-под бескровных губ выглядывали редкие, порченые и черные зубы.

Казалось, в жилах у этого человека течет не кровь, а желчь.

В противоположность первому, кривоногому коротышке, второй человек напоминал цаплю на ходулях. Его сходство с вышеупомянутой птицей усугублялось еще и тем, что он был горбат, как цапля, – голова его глубоко уходила в плечи и обращала на себя внимание только двумя глазами, похожими на два пятнышка крови, да длинным и острым, как птичий клюв, носом. Похоже было, что он, опять-таки наподобие цапли, обладал способностью вытягивать шею, словно пружину, чтобы добраться до намеченной жертвы и клюнуть ее. Но на самом деле ничего подобного: судя по всему, такой эластичностью обладала не шея его, а только руки: усевшись, он, казалось, не пошевелился, а между тем одним пальцем дотянулся до платка, который обронил после того, как утер себе лоб, взмокший от пота и дождя.

Третье лицо в этой компании было существо, от которого так и веяло двуличием, хотя трудно было решить, мужчина это или женщина. Ему – или ей – было на вид от тридцати до тридцати четырех лет; на нем был кокетливый наряд рыбной торговли, золотые цепочки и сережки, чепец, кружевной платочек; черты лица этого создания, насколько можно было разглядеть сквозь слой белил и румян, усеянный множеством мушек разной формы, были слегка расплывчаты, как бывает у отпрысков вырождающихся племен. При виде этого существа, своим обликом сразу вызывавшего сомнения, которые мы сейчас выразили, всем и каждому начинало хотеться, чтобы оно разверзло уста и произнесло несколько слов: звук его голоса мог придать характеру этой подозрительной личности хоть сколько-нибудь определенности. Но ничуть не бывало: голос ее, сопрано, способен был разве что посеять в любопытствующем наблюдателе еще большие сомнения; уху открывалось не больше, чем глазу, слух ничем не помогал зрению.

Чулки и башмаки обоих мужчин, а также башмаки женщины свидетельствовали, что вся троица долго брела по дороге.

– Странное дело! – заметил Гамен. – Сдается мне, я знаю эту женщину.

– А хоть бы и так; если эти трое собрались вместе, любезный господин Гамен, – возразил незнакомец, берясь за ружье и натягивая шапку поглубже на уши, – значит у них какие-то дела, а если у них дела, значит надо оставить их в покое.

– Так вы их знаете? – осведомился Гамен.

– Да, в лицо, – отвечал незнакомец. – А вы?

– А я ручаюсь, что женщину где-то видел.

– Вероятно, при дворе? – предположил незнакомец.

– Рыбную торговку? Еще чего!

– С недавних пор там можно повстречать и рыбных торговок.

– Раз вы их знаете, скажите мне, кто эти двое мужчин, тогда я наверняка припомню и женщину.

– Кто эти двое мужчин?



– Да.

– Кого из них назвать вам первым?

– Кривоногого.

– Жан Поль Марат.

– Да ну?

– Что вас еще интересует?

– Кто такой этот горбун?

– Проспер Веррьер.

– Да ну!

– Ну что же, это наводит вас на след рыбной торговли?

– Ей-богу, нет.

– Подумайте.

– Провалиться мне на этом месте.

– Ну, кто же эта торговка?

– Погодите... Хотя нет, или это... Нет, нет.

– Отчего же?

– Но... Этого не может быть!

– Да, на первый взгляд этого не может быть.

– Неужели...

– Ну, вижу, вы никогда не назовете этого имени и придется мне самому его произнести: рыбная торговка – это герцог д'Эгюйон.

При звуке этого имени рыбная торговка вздрогнула, и вся троица обернулась.

Они сделали такое движение, словно собирались встать, как встают перед начальником, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение.

Но незнакомец поднес палец к губам и прошел мимо.

Гамен последовал за ним: ему казалось, что он спит и видит сон.

В дверях его толкнул какой-то человек, который убегал от преследователей, вопивших:

– Парикмахер королевы! Парикмахер королевы!

Двое из этих бежавших и вопивших людей держали в руках пики с насаженными на них окровавленными головами.

То были головы двух несчастных гвардейцев, Варикура и Дезютта; их отсекли от тела с помощью предмета, называемого «длинный Никола», и насадили на пики.

Эти головы, как мы уже сказали, находились во власти толпы людей, гнавшихся за беднягой, который налетел на Гамена.

– Да это же господин Леонар! – воскликнул Гамен.

– Тише, не называйте меня по имени! – воскликнул парикмахер, вбежав в кабачок.

– Что же нужно от него этим людям? – спросил слесарь у незнакомца.

– Кто их знает? – отвечал тот. – Может быть, они хотят, чтобы он завил волосы на головах этих бедняг. Что только не приходит людям на ум во время революции!

И он смешался с толпой, считая, очевидно, что вытянул из Гамена все, что ему было нужно, и не препятствуя ему более возвратиться к себе в мастерскую в Версале, как тот и собирался.

Глава III Калиостро

Незнакомцу нетрудно было затеряться в толпе: она была весьма многочисленна.

То был авангард кортежа, сопровождавшего короля, королеву и дофина.

Как сказал король, они выехали из Версаля около часу дня.

Королева, дофин, ее королевское высочество¹³, граф Прованский, Мадам Елизавета¹⁴ и Андреа¹⁵ ехали в карете короля.

Члены Национального собрания, заявившие, что не расстанутся с королем, получили сто экипажей.

Граф де Шарни и Бийо остались в Версале, чтобы отдать последний долг барону Жоржу де Шарни, убитому, как мы уже рассказали, в ужасную ночь с пятого на шестое октября, и не позволили совершить надругательство над его телом, как надругались над гвардейцами Варикуром и Дезюттом.

Вышеупомянутый авангард вышел из Версаля двумя часами ранее короля и теперь опережал его примерно на четверть часа; он, можно сказать, сплотился вокруг двух голов на пиках, которые служили ему знаменем.

Когда головы остановились у кабачка близ Севрского моста, одновременно с ними остановился и весь авангард.

Он состоял из жалких оборванцев, половина которых была пьяна, – то была пена, появляющаяся на поверхности во время любого стихийного бедствия, будь то наводнение или извержение вулкана.

Внезапно в этой толпе началась отчаянная суматоха. Люди завидели штыки национальной гвардии и белого коня Лафайета, ехавшего прямо перед экипажем короля.

Лафайет обожал скопления народа: он воистину царил среди парижан, видевших в нем идола.

Но черни он не любил.

В Париже, как в Риме, были свой плебс и своя чернь.

Более всего Лафайет не любил расправ, чинимых чернью. Как мы видели, он сделал все, что мог, чтобы спасти Флесселя, Фулона и Бертье де Совиньи.

Поэтому авангард принял меры предосторожности, желая спрятать от него свои трофеи, но в то же время не желая расставаться с этими кровавыми символами своей победы.

Но казалось, обрета подкрепление в виде триумвирата, который им посчастливилось встретить в кабачке, знаменосцы нашли способ ускользнуть от Лафайета: они отказались следовать за своими товарищами и решили, что, коль скоро его величество не желает расставаться со своими верными гвардейцами, они дождутся его величества и примкнут к его свите.

Между тем авангард, передохнув, с новыми силами пустился в путь.

Толпа, которая текла по большой дороге из Версаля в Париж, подобная разлившемуся после грозы потоку, в своих черных мутных волнах влачащему обитателей дворца, попавшего ему на пути и сметенного его яростным напором, – эта толпа по обе стороны дороги вихрилась водоворотами, состоявшими из жителей окрестных деревень, которые прибегали

¹³ Имеется в виду Мария Терезия Шарлотта, герцогиня Ангулемская (1778–1851), дочь Людовика XVI.

¹⁴ Сестра Людовика XVI (1764–1794).

¹⁵ Продолжая наше повествование, мы по-прежнему убеждены или по крайней мере надеемся, что наши сегодняшние читатели читали нас и вчера, а потому хорошо знакомы с нашими героями. Итак, считаем нужным напомнить им только, что м-ль Андреа де Таверне есть не кто иная, как графиня де Шарни, сестра Филиппа и дочь барона де Таверне-Мезон-Ружа. – *Примеч. авт.*

поглазеть, что же такое происходит. Некоторые из любопытных – правда, немногие – вливались в толпу, сопровождавшую короля, и крики их и вопли смешивались с общими криками и воплями; но большинство молча и недвижно стояло по обочинам.

Решимся ли мы утверждать, что все эти люди сочувствовали королю и королеве? Нет, потому что, за исключением аристократии, весь народ, в том числе буржуазия, в большей или в меньшей степени страдал от ужасного голода, распространившегося по Франции. Поэтому люди если уж не оскорбляли короля, королеву и дофина, то просто молчали, а молчание толпы, быть может, еще хуже, чем ее ярость.

Зато эта толпа во всю мощь легких кричала: «Да здравствует Лафайет!» – причем тот время от времени левой рукой снимал шляпу, а правой, в которой держал шпагу, салютовал толпе – и «Да здравствует Мирабо!» – а Мирабо время от времени высовывался из кареты, куда втиснулся шестым, и набирал в легкие свежий воздух, которого не хватало его широкой груди.

Таким образом, несчастный Людовик XVI, которого встречали молчанием, слышал, как впереди него рукоплещут популярности, которую он утратил, и гению, которого он никогда не имел.

Жильбер, единственный из всех, способствовавший отъезду короля, шагал, смешавшись с толпой, у правой дверцы королевской кареты, с той стороны, где ехала королева.

Мария-Антуанетта, никогда не понимавшая удивительного стоицизма, который исповедовал Жильбер и который после Америки стал у него еще тверже и непримиримее, с удивлением смотрела на этого человека, не питавшего к своим монархам ни любви, ни преданности, а просто исполнявшего по отношению к ним то, что почитал своим долгом, но готового ради них на все, что делают под влиянием преданности и любви.

И даже на большее, потому что он был готов умереть, а до этого доходит не всякая любовь и не всякая преданность.

По обеим сторонам кареты короля и королевы – помимо череды пеших, которые держались за свое место в цепочке, кто из любопытства, кто с готовностью при случае прийти на помощь августейшим путешественникам, а некоторые и с дурным умыслом, – по обочинам дороги, утопая в грязи дюймов в шесть глубиной, брели рыночные торговки и крючники, и в их поток, расцвеченный букетами и лентами, время от времени вливались более плотные волны.

Волны эти состояли из телег или повозок, набитых женщинами, распевавшими во всю глотку и оравшими как оглашенные.

Пели они старинную народную песенку:

У Пекарши монеты есть,
Они легко ей достаются¹⁶.

А выкриками они выражали свою последнюю надежду:

«Теперь у нас будет вдоволь хлеба: мы везем с собой Пекаря, Пекаршу и Пекаренка».

Королева слушала, но, казалось, ничего не понимала. Между колен она держала маленького дофина, который стоя испуганно смотрел на толпу, как всегда смотрят на толпу во время революций королевские дети; мы видели, что так же смотрели на нее Римский король, герцог Бордоский и граф Парижский¹⁷.

Однако современная толпа все же более надменна и более великодушна, чем та, которую мы изображаем, потому что сознает свою силу и чувствует за собой право на милосердие.

Король, со своей стороны, смотрел на все происходящее тусклым и тяжелым взглядом. Минувшей ночью он почти не спал, за завтраком почти не ел, ему не хватило времени как сле-

¹⁶ Здесь и далее стихи в переводе Л. Цывяна.

¹⁷ Имеются в виду сын Наполеона I, внук Карла X, внук Луи Филиппа.

дует причесать и напудрить волосы, борода у него отросла, белье измялось, – словом, выглядел он далеко не лучшим образом. Увы! Бедный король был не из тех, кто умеет держаться в трудных обстоятельствах. В таких случаях он всякий раз склонял голову. И только один раз он высоко поднял ее – на эшафоте, перед тем как она скатилась с его плеч.

Мадам Елизавета была ангел нежности и смирения, которого Бог послал этим двоим обреченным; она утешала короля в Тампле, когда он был разлучен с королевой, утешала королеву в Консьержери, когда король умер.

Граф Прованский, как всегда, смотрел искоса, ускользающим взглядом; он хорошо понимал, что сейчас по крайней мере ему не грозит никакая опасность; невеста почему он единственный из всей семьи оказался народным любимцем; быть может, это объяснялось тем, что он остался во Франции, в то время как брат его, граф д'Артуа, уехал.

Но если бы король мог читать в глубине сердца графа Прованского, неизвестно, что осталось бы от той благодарности, которую Людовик платил ему за то, что принимал за преданность.

Андреа была похожа на мраморное изваяние; спала она не лучше королевы, ела не больше короля, но казалось, жизненные потребности не властны над этой исключительной натурой. У нее не было времени позаботиться о прическе и переменить туалет, однако ни один волосок у нее на голове не выбивался из прически, а на платье не было ни единой морщинки. Волны, ходившие ходуном вокруг нее и на которые она даже не обращала внимания, лишь оттеняли ее мраморную неподвижность и белизну; сердцем или умом этой женщины, очевидно, владела единственная всепоглощающая мысль, таимая от всех и притягивавшая к себе все силы ее души, как притягивает магнитную стрелку Полярная звезда. Она походила бы на привидение среди живых, когда бы не единственный признак жизни: всякий раз, когда глаза ее встречались с глазами Жильбера, в ее взгляде вспыхивала невольная молния.

Не доезжая примерно ста шагов до кабачка, о котором мы говорили, кортеж остановился; крики вдоль дороги усилились.

Королева слегка наклонилась и выглянула из кареты; это движение, которое можно было истолковать как приветствие, вызвало в толпе долгий ропот.

– Господин Жильбер! – позвала она.

Жильбер приблизился к дверце кареты. Поскольку с самого Версаля он держал шляпу в руке, ему не пришлось снимать ее в знак почтения к королеве.

– Государыня? – произнес он.

И это единственное слово да та интонация, с которой оно было произнесено, дали понять, что Жильбер душой и телом готов служить королеве.

– Господин Жильбер, – продолжала она, – что такое распевает, твердит и выкрикивает ваш народ?

По тому, как составлена эта фраза, было сразу видно, что королева приготовила ее заранее и, несомненно, долго отшлифовывала ее, крутила и так и сяк, прежде чем пустить, как плевок, прямо в лицо толпе.

Жильбер испустил вздох, означавший: «Опять она за свое!»

Потом с выражением глубокой печали на лице он ответил:

– Увы, государыня, этот народ, который вы называете моим, был когда-то вашим народом, и менее двух десятилетий тому назад господин де Бриссак, очаровательный придворный кавалер, которого я нынче напрасно ищу здесь, показал вам с балкона ратуши этих самых людей, кричавших: «Да здравствует дофина!», и сказал: «Сударыня, вот двести тысяч человек, влюбленных в вас».

Королева закусила губу: у этого человека на все находился ответ, а между тем упрекнуть его в недостатке почтения было невозможно.

– Да, это правда, – сказала она, – и это доказывает лишь, что народы переменчивы.

На сей раз Жильбер поклонился, но не ответил.

– Я задала вам вопрос, господин Жильбер, – сказала королева с той настойчивостью, которую она вкладывала даже в самые неприятные для нее дела.

– Да, государыня, – отозвался Жильбер, – и, коль скоро ваше величество настаивает, я отвечу. Народ поет:

У Пекарши монеты есть,
Они легко ей достаются.

Вы знаете, кого народ называет Пекаршей?

– Да, сударь, знаю, что эту честь оказывают мне; я уже привыкла к подобным прозвищам; меня называли «мадам Дефицит». Имеется ли что-нибудь общее между первой кличкой и второй?

– Да, государыня, и, чтобы убедиться в этом, вам стоит только вдуматься в смысл тех двух начальных строчек, которые я вам сейчас привел:

У Пекарши монеты есть,
Они легко ей достаются.

Королева повторила:

– *Они легко ей достаются...* Сударь, я не понимаю.

Жильбер молчал.

– Ну, – нетерпеливо продолжала королева, – разве вы не слышали: я не понимаю.

– И вы по-прежнему настаиваете на разъяснениях, ваше величество?

– Безусловно.

– Это означает, ваше величество, что у вас были весьма снисходительные министры, в первую очередь министры финансов, например господин де Калонн; народу известно, что вы получали все, о чем просили, а поскольку для королевы не составляет великого труда попросить, потому что просьба ее равняется приказу, то вот народ и поет:

У Пекарши монеты есть,
Они легко ей достаются, —

то есть ей стоит только попросить их.

Королева судорожно стиснула свою белую руку, лежавшую на красном бархате кареты.

– Ну ладно, – сказала она, – теперь мне понятно, что они поют. В таком случае, господин Жильбер, раз вы так хорошо умеете давать пояснения, перейдем к тому, что они твердят.

– Они твердят, государыня: «Теперь у нас будет вдоволь хлеба, мы везем с собой Пекаря, Пекаршу и Пекаренка».

– Не правда ли, эту вторую дерзость вы растолкуете мне так же хорошо, как и предыдущую? Я на это надеюсь.

– Государыня, – все так же мягко и печально ответил Жильбер, – если вы соизволите вдуматься не столько в сами слова, сколько в намерения народа, вы убедитесь, что у вас меньше оснований для недовольства, чем вам кажется.

– Ну-ка, ну-ка, – с нервным смешком отозвалась королева, – вы знаете, я жажду, чтобы меня просвещали, господин доктор. Итак, я слушаю, я жду.

– Дело в том, государыня, что народу сказали, справедливо ли, нет ли, будто в Версале имеется большой запас муки и якобы поэтому муку более не доставляют в Париж. Кто кормит этот несчастный народ? Пекарь и пекарша, живущие по соседству. К кому простирают в мольбе

руки отец, муж, сын, когда у них нет денег, а дитя, жена или отец умирают с голоду? К этому пекарю, к этой пекарше. Кого они молят, кроме Бога, благословляющего урожай? Тех, кто раздает хлеб. И разве вы, государыня, и король, и даже ваш августейший сын, разве вы не наделяете хлебом Господним? Так не удивляйтесь ласковому прозвищу, которым называет вас народ, и будьте благодарны ему за его надежду: ведь он верит, что, как только король, королева и дофин окажутся посреди миллиона двухсот тысяч голодающих, те перестанут терпеть нужду.

Королева на мгновение прикрыла глаза; челюсть и горло ее дернулись, словно с терпкой слюной, обжигавшей ей горло, она пыталась проглотить свою ненависть.

– А что кричит народ там, впереди и позади? Мы и за это должны его благодарить, как за прозвища, которыми он нас награждает, и куплеты, которые он нам поет?

– О да, государыня, и еще горячее, потому что песенки его свидетельствуют лишь о его благодушном настроении, прозвища, которыми он вас награждает, выражают его надежды, а в крик он вкладывает свои желания.

– Вот как! Народ желает господам де Лафайету и Мирабо доброго здоровья?

Как видим, королева прекрасно расслышала пение, толки и даже крики.

– Да, государыня, – сказал Жильбер, – ведь, покуда живы и здоровы господа де Лафайет и де Мирабо, которых теперь, как вы видите, разделяет пропасть, разверзшаяся под вашими ногами, они могут еще объединиться, и, если это произойдет, они спасут монархию.

– Так, значит, сударь, – воскликнула королева, – монархия опустилась так низко, что спасти ее могут только эти двое?

Жильбер хотел ответить, но тут послышались крики ужаса вперемежку с раскатами свирепого хохота, и в толпе началась суматоха, которая не оттерла Жильбера от кареты, а прижала к ней вплотную, так что он взобрался на подножку, догадываясь, что сейчас происходит или вот-вот произойдет нечто такое, что королеву потребуете защищать словом, а то и силой.

Дело было в тех двоих, что несли головы на пиках: они заставили несчастного Леонара завить и напудрить эти головы и теперь желали устроить себе жестокую потеху и продемонстрировать свою ношу королеве, как до того другие люди – а возможно, и те же самые – для потехи принесли Бертье голову его тестя Фулона.

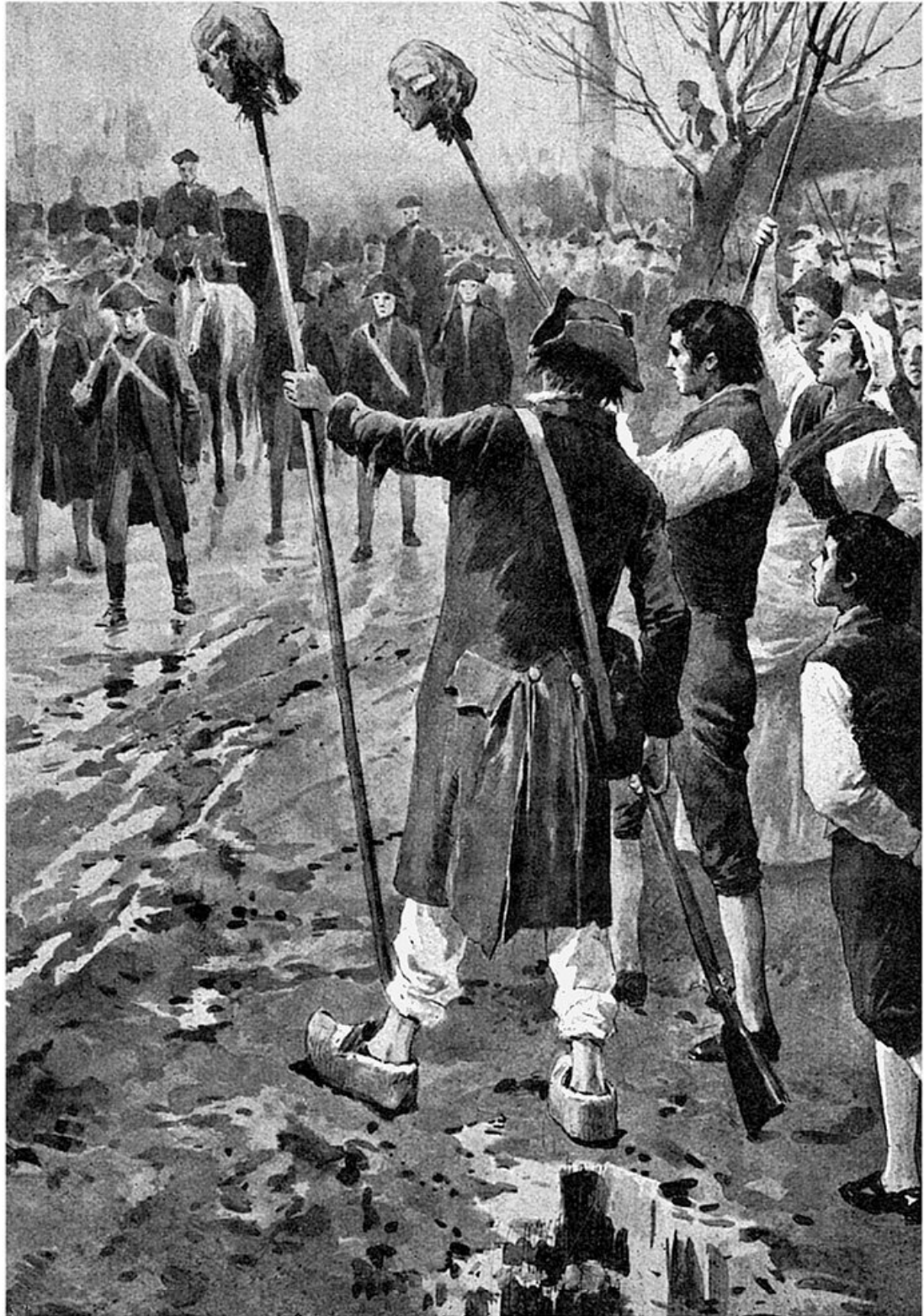
При виде этих голов толпа разразилась криками, потеснилась, устроив давку, и расступилась, давая им дорогу.

– Ради всего святого, государыня, – взмолился Жильбер, – не смотрите направо!

Но королева была не из тех женщин, которые покорились бы подобному указанию, не выяснив, чем оно вызвано.

Поэтому она немедленно взглянула туда, куда запретил ей смотреть Жильбер. Она испустила страшный вопль.

Но вдруг глаза ее оторвались от ужасного зрелища, словно наткнулись на нечто еще более ужасное, и, вперившись в лицо Медузы, уже не в силах были от нее отвернуться.



Это лицо Медузы было на самом деле лицом того незнакомца, который еще недавно болтал и пил вино с мастером Гаменом в кабачке близ Севрского моста, чему мы были свидетелями; теперь он стоял, прислонившись к дереву и скрестив руки на груди.

Рука королевы оторвалась от обтянутой бархатом дверцы и, опершись на плечо Жильбера, на мгновение сжалась так, что ногти вонзились в кожу.

Жильбер оглянулся.

Он увидел, что королева побелела; с губ ее сбежала краска, взгляд застыл.

Может быть, он приписал бы это нервное перевозбуждение виду двух голов, будь глаза Марии-Антуанетты прикованы к одной из них.

Но она смотрела прямо, а не вверх.

Он проследил направление ее взора; королева вскрикнула от ужаса, и в тот же миг Жильбер вскрикнул от удивления.

Потом оба одновременно прошептали:

– Калиостро!

Со своего места человек, прислонившийся к дереву, прекрасно видел королеву.

Он махнул рукой Жильберу, словно делая ему знак приблизиться.

В этот миг кареты дернулись и пришли в движение.

Королева машинально, инстинктивным жестом бессознательно толкнула Жильбера с подножки, чтобы он не угодил под колесо.

Ему показалось, что она толкает его к этому человеку.

Впрочем, если бы королева и не толкнула Жильбера, он, узнав Калиостро, уже не мог не подойти к нему.

Поэтому он застыл на месте, пропуская кортеж; затем вслед за мнимым мастеровым, который время от времени оглядывался, проверяя, поспевает ли за ним Жильбер, он свернул в узкий переулок, круто спускавшийся в сторону Бельвю, и скрылся за оградой в тот самый миг, когда направлявшийся в Париж кортеж окончательно пропал из виду, спустившись с холма, так что могло показаться, будто он канул в бездну.

Глава IV

Рок

Жильбер следовал за своим вожатым, который до середины проулка шел шагов на двадцать впереди него. Когда они поравнялись с большим и красивым домом, тот, кто шагал впереди, извлек из кармана ключ и отпер дверцу, предназначавшуюся для тех случаев, когда хозяин дома хотел выйти или войти без ведома слуг.

Дверцу он оставил полуоткрытой, и это ясное свидетельствоvalo, что человек, вошедший первым, приглашает спутника последовать за ним.

Жильбер вошел и осторожно притворил дверь, которая бесшумно повернулась на петлях и захлопнулась, хотя не слышно было, чтобы лязгнул замок.

Мастер Гамен пришел бы в восторг от такого замка.

Войдя, Жильбер очутился в коридоре, по обеим стенам которого на высоте человеческого роста, так чтобы легко было разглядеть каждую из восхитительных деталей, были укреплены бронзовые панно – копия тех, коими Гиберти украсил двери флорентийского баптистерия¹⁸.

Ноги утопали в мягком турецком ковре.

Налево виднелась отворенная дверь.

Жильбер истолковал это как приглашение войти и вступил в гостиную, стены которой были обтянуты индийским атласом; тою же материей была обита и мебель. По потолку раскинула свои лазурные с золотом крылья одна из тех фантастических птиц, каких рисуют и вышивают китайцы; эта птица сжимала в когтях люстру со светильниками великолепной работы, представлявшими собой пучки лилий.

Гостиную украшала одна-единственная картина, висевшая напротив каминного зеркала.

То была Мадонна кисти Рафаэля.

Восхищенно рассматривая этот шедевр, Жильбер слышал или, вернее, почувствовал, что дверь у него за спиной отворилась. Обернувшись, он узнал Калиостро, выходившего из смежного кабинета, который служил чем-то вроде туалетной комнаты.

За считанные мгновения он успел смыть грязь с рук и лица, причесать на более изысканный манер свою все еще черную шевелюру и переодеться с головы до ног.

Исчез мастеровой с грязными руками, с прямыми космами волос, в перепачканных башмаках, в коротких штанах грубого бархата и рубашке сурового полотна.

Теперь это был изящный вельможа, которого мы уже дважды представляли нашим читателям – сперва в «Жозефе Бальзамо», затем в «Ожерелье королевы».

Его пышно расшитый наряд, его руки, на которых поблескивали бриллианты, разительно отличались от черного платья Жильбера и его простого золотого кольца, полученного в дар от Вашингтона.

Калиостро приблизился к нему с сердечной улыбкой; он простер руки навстречу Жильберу.

Жильбер бросился к нему в объятия.

– Дорогой учитель! – вскричал он.

– Полноте, – со смехом возразил Калиостро, – с тех пор как мы расстались, мой любезный Жильбер, вы добились таких успехов, особенно в философии, что теперь вы сами учитель, а я едва достоин называться вашим учеником.

¹⁸ *Гиберти Лоренцо* (1381–1455) – флорентийский архитектор и скульптор, руководивший строительством собора во Флоренции.

– Благодарю за комплимент, – сказал Жильбер. – Но допустим даже, что я добился таких успехов, вы-то откуда об этом знаете? Мы с вами не виделись восемь лет.

– А по-вашему, дорогой доктор, вы принадлежите к тем людям, о которых ничего нельзя узнать, коль скоро не видишься с ними? Я и впрямь не видел вас восемь лет, но могу день за днем пересказать вам почти все, что вы делали в эти годы.

– Вот как! Ну например?

– Значит, вы по-прежнему сомневаетесь в моем даре ясновидения?

– Вы знаете, я математик.

– То есть скептик... Ну ладно, слушайте: в первый раз вы приехали во Францию для устройства семейных дел; ваши семейные дела меня не касаются, следовательно...

– Нет-нет, говорите, любезный учитель, – возразил Жильбер, надеясь поставить Калиостро в тупик.

– Что ж, в тот раз дела ваши заключались в том, чтобы позаботиться о воспитании вашего сына Себастьяна, поместить его в пансион в одном маленьком городке, в восемнадцати-двадцати лье от Парижа, и договориться с вашим арендатором, славным человеком, которого вы удерживаете в Париже, в сущности, против его воли, между тем как ему очень нужно ехать домой, к жене.

– Сушая правда, учитель, вы творите чудеса!

– Погодите же... Во второй раз вы вернулись во Францию, потому что вас, как многих, призывали дела политические; затем вы сочинили несколько брошюр и послали их королю Людовику Шестнадцатому, а поскольку в вас еще немало осталось с прежних времен и поскольку одобрением короля вы дорожите, быть может, больше, чем дорожили бы одобрением моего предшественника в деле вашего воспитания – я имею в виду Жана Жака Руссо, который, кстати, будь он жив сегодня, смотрел бы на вещи совсем по-иному, чем король, – вам захотелось узнать, что думает о докторе Жильбере праправнук Людовика Четырнадцатого, потомок Генриха Четвертого и Людовика Святого; к несчастью, вы не подумали об одном пустячном обстоятельстве, которому, к слову сказать, я обязан тем, что когда-то нашел вас в пещере на одном из Азорских островов, когда мой корабль случайно причалил к нему для отдыха. Это пустячное обстоятельство касалось мадемуазель Андреа де Таверне, ныне графини де Шарни, питавшей, без сомнения, самые добрые намерения и желавшей оказать услугу королеве. Королева же ни в чем не могла отказать женщине, которая вышла замуж за графа де Шарни, поэтому она потребовала приказа о вашем аресте и получила такой приказ; вас арестовали по дороге из Гавра в Париж и препроводили в Бастилию, где бы вы сидели и поныне, любезный доктор, когда бы в один прекрасный день народ не смел ее с лица земли. Будучи добрым роялистом, мой любезный Жильбер, вы немедленно пробились к королю, и теперь вы его дежурный лейб-медик. Вчера, а вернее, нынче утром вы сыграли решающую роль в спасении королевской семьи: вы разбудили славного Лафайета, спавшего сном праведника, и только что, когда вы меня увидели и подумали, что королеве грозит опасность – а королева, к слову сказать, вас ненавидит, мой дорогой Жильбер, – вы были готовы прикрыть ее собственным телом... Может быть, я упустил какую-нибудь маловажную подробность, вроде сеанса магнетизма в присутствии короля или изъятия некой шкатулки из неких рук, которые заполучили ее при содействии некоего Тихой-Сапой? Что ж, скажите об этом, и если я ошибся или что-то забыл, готов принести публичное покаяние.

Жильбер был повергнут в изумление перед лицом этого странного человека, так хорошо умевшего подготавливать свои откровения, что свидетелю их начинало казаться, будто этот человек, подобно Господу Богу, обладает даром охватывать очами весь мир во всех подробностях и читать в людских сердцах.

– Да, все так, – сказал он, – и вы все тот же волшебник, колдун, чародей Калиостро!

Калиостро удовлетворенно улыбнулся; он явно гордился тем, что произвел на Жильбера впечатление, которое непроизвольно отразилось на лице доктора.

– А теперь, – продолжал Жильбер, – поскольку я люблю вас уж никак не меньше, чем вы меня, дорогой учитель, и несколько не меньше горю желанием знать, что случилось с вами со времени нашей с вами разлуки, чем хотели этого вы, разузнавая то же самое обо мне, не соблаговолите ли открыть мне, если просьба моя не покажется вам нескромной, куда, в какие края направили вы свой гений и простерли свое могущество.

Калиостро улыбнулся.

– О, я занимался тем же, чем вы, – отвечал он, – встречался с королями, и даже часто, но с другой целью. Вы сближаетесь с ними, чтобы их поддержать, а я – чтобы низвергнуть; вы хотите конституционной монархии, но не преуспеете в этом, а я создаю императоров, королей, государей-философов и добиваюсь успеха...

– В самом деле? – с сомнением в голосе перебил Жильбер.

– Полного успеха! Правда, эти новые Мезентии¹⁹, эти возвышенные презрители богов превосходно подготовлены Вольтером, Даламбером и Дидро, а также примером разлюбезного короля Фридриха, которого мы, к сожалению, утратили. Но в конце концов, знаете ли, за исключением тех, кто не умирает, – меня, например, или графа де Сен-Жермена, – все мы смертны. Как бы то ни было, королева прекрасна, мой дорогой Жильбер, вот она и вербует солдат, которые сражаются против собственных интересов, и королей, которые колеблют троны еще сильнее, чем Бонифаций Тринадцатый, Климент Восьмой и Борджиа колебали алтарь. Итак, в нашем распоряжении находится прежде всего император Иосиф Второй, брат нашей возлюбленной королевы, уничтожающий три четверти монастырей, захватывающий церковное имущество и даже кармелитов изгоняющий из их келий, а сестре своей Марии-Антуанетте посылающий гравюры, на которых изображены монашки, скинувшие клобуки и занятые примеркой модных туалетов, да монахи-расстриги, коим парикмахер завивает волосы. В нашем распоряжении король Дании, который начал с того, что был палачом собственного медика Струэнсе²⁰ и, сызмальства будучи философом, в семнадцать лет говорил: «Господин де Вольтер сделал из меня человека и научил меня мыслить». В нашем распоряжении императрица Екатерина, которая делает в философии столь поразительные успехи, хоть, само собой, и расчленяет в то же самое время Польшу, что Вольтер написал ей: «Мы с Дидро и Даламбером воздвигаем Вам алтари». В нашем распоряжении королева Швеции и, наконец, многие государи Германии.

– Остается лишь обратиться к вашей вере папу, мой дорогой учитель, и надеюсь, это вам удастся, потому что, на мой взгляд, для вас нет невозможного.

– Ну, с ним справиться нелегко! Я насилу вырвался из его когтей: полгода назад я сидел в замке Святого Ангела, точно так же как вы три месяца назад – в Бастилии.

– Ну да! И трастеверинцы²¹ разгромили замок Святого Ангела так же, как народ Сент-Антуанского предместья – Бастилию?

– Нет, любезный доктор, римский народ еще до этого не созрел. Но не беспокойтесь – созреет: папству тоже придется пережить свои пятое и шестое октябрь, и Версаль с Ватиканом окажутся товарищами по несчастью.

– Но я полагал, что те, кто угодили в замок Святого Ангела, никогда не выходят оттуда...

– Что вы! А Бенвенуто Челлини?²²

¹⁹ В «Энеиде» Вергилия нечестивый этрусский царь, изгнанный подданными за жестокость.

²⁰ *Струэнсе Йохан Фредерик* (1737–1772) – датский государственный деятель, горячий поклонник идей французских правителей, врач и советник психически больного короля Кристиана VII (1766–1808). Пытался провести ряд реформ в духе просвещенного абсолютизма, но в результате дворцового переворота арестован и казнен.

²¹ Жители затибрской части Рима.

²² Знаменитый ваятель и золотых дел мастер Бенвенуто Челлини (1500–1571) бежал из замка Святого Ангела, но, конечно,

– Значит, вы, как он, смастерили себе пару крыльев и, подобно Икару, перепорхнули через Тибр?

– Это было бы нелегко, принимая в расчет, что меня для вящей надежности бросили в самый глубокий и темный каменный мешок.

– И вы все-таки выбрались оттуда?

– Как видите. Я перед вами.

– Прибегли к могуществу золота? Подкупили тюремщика?

– На беду, тюремщик мне попался неподкупный.

– Неподкупный? О дьявол!

– Да, но, к счастью, оказалось, что он смертен: по воле случая – а человек более набожный сказал бы: по воле Провидения, – он умер на другой день после того, как в третий раз отказался отворить мне ворота тюрьмы.

– Внезапно умер?

– Да.

– А!

– Пришлось прислать ему замену, на его место прислали другого.

– И тот уже не был неподкупен?

– Новый тюремщик в тот самый день, как заступил на место, сказал мне, когда принес ужин: «Ешьте хорошенько, набирайтесь сил; этой ночью нам предстоит дальняя дорога». Черт побери, этот молодец не солгал. В ту же ночь каждый из нас загнал трех коней, мы проскакали сто миль.

– А как правительство отозвалось на ваш побег?

– Никак не отозвалось. Первого тюремщика еще не успели похоронить; его нарядили в мое платье, выстрелом из пистолета размозжили ему лицо, пистолет бросили рядом и объявили, что я неизвестно каким образом раздобыл себе оружие и застрелился; врач удостоверил мою смерть, и тюремщика похоронили под моим именем; таким образом, я покоюсь в могиле, мой любезный Жильбер, и если я объявлюсь, в ответ мне продемонстрируют свидетельство о моей кончине и докажут, что я мертв; впрочем, никому ничего не придется доказывать, потому что теперь исчезновение пришлось мне как нельзя более кстати. Итак, я погрузился в воды, несущие меня к темному берегу, как выразился знаменитый аббат Делиль, и выплыл под новым именем.

– Можно ли полюбопытствовать, как же вас теперь зовут?

– Отчего же! Я зовусь Дзаннони, я генуэзский банкир, веду денежные дела сильных мира сего; недурной документ, не правда ли, вроде того, которым располагал кардинал де Роган. Но к счастью, выдавая ссуды, я не успокаиваюсь на получении барыша... Кстати, не надобно ли вам денег, мой дорогой Жильбер? Как вы знаете, теперь и всегда кошелек мой, так же как сердце, в вашем распоряжении.

– Благодарю.

– А вы, быть может, боитесь затруднить меня просьбой, потому что, когда мы встретились, я был одет как бедный мастеровой? Об этом не заботьтесь: то было одно из моих обычных переодеваний. Вы же знаете мои представления о жизни: это долгий карнавал, а мы все – более или менее ряженные на нем. Во всяком случае, запомните, мой милый Жильбер: если у вас приключится нужда в деньгах, здесь, в секретере, хранятся мои личные деньги, понимаете? Основная касса в Париже, на улице Сен-Клод на Болоте²³; и ежели вам понадобятся деньги, здесь я или в другом месте, все равно – входите, я покажу вам, как отпирается малень-

не на крыльях, а с помощью веревки, сделанной из простыней.

²³ Болото (*фр.* Marais) – один из районов Парижа.

кая дверца; нажмите вот эту пружину – видите, вот здесь, – и в любое время найдете у меня около миллиона.

Калиостро нажал пружину; передняя панель секретера опустилась сама собой и явила взору груды золота и множество пачек банковских билетов.

– Вы в самом деле чародей! – со смехом сказал Жильбер. – Но знаете, с моими двадцатью тысячами ливров ренты я чувствую себя богаче короля. А вы не боитесь, что в Париже вас не оставят в покое?

– Это по поводу дела об ожерелье? Полноте, не посмеют! При нынешнем состоянии умов мне довольно произнести слово, чтобы поднять мятеж; не забудьте, что я в добрых отношениях со всеми, кто нынче популярен: с Лафайетом, с господином де Неккером, с графом де Мирабо, с вами, наконец.

– А зачем вы приехали в Париж?

– Кто знает? Быть может, затем же, зачем вы ездили в Соединенные Штаты, – чтобы учредить республику.

Жильбер покачал головой.

– Франции чужд республиканский дух, – сказал он.

– Мы ей его привьем, вот и все.

– Король будет сопротивляться.

– Возможно.

– Знать возьмется за оружие.

– Вероятно.

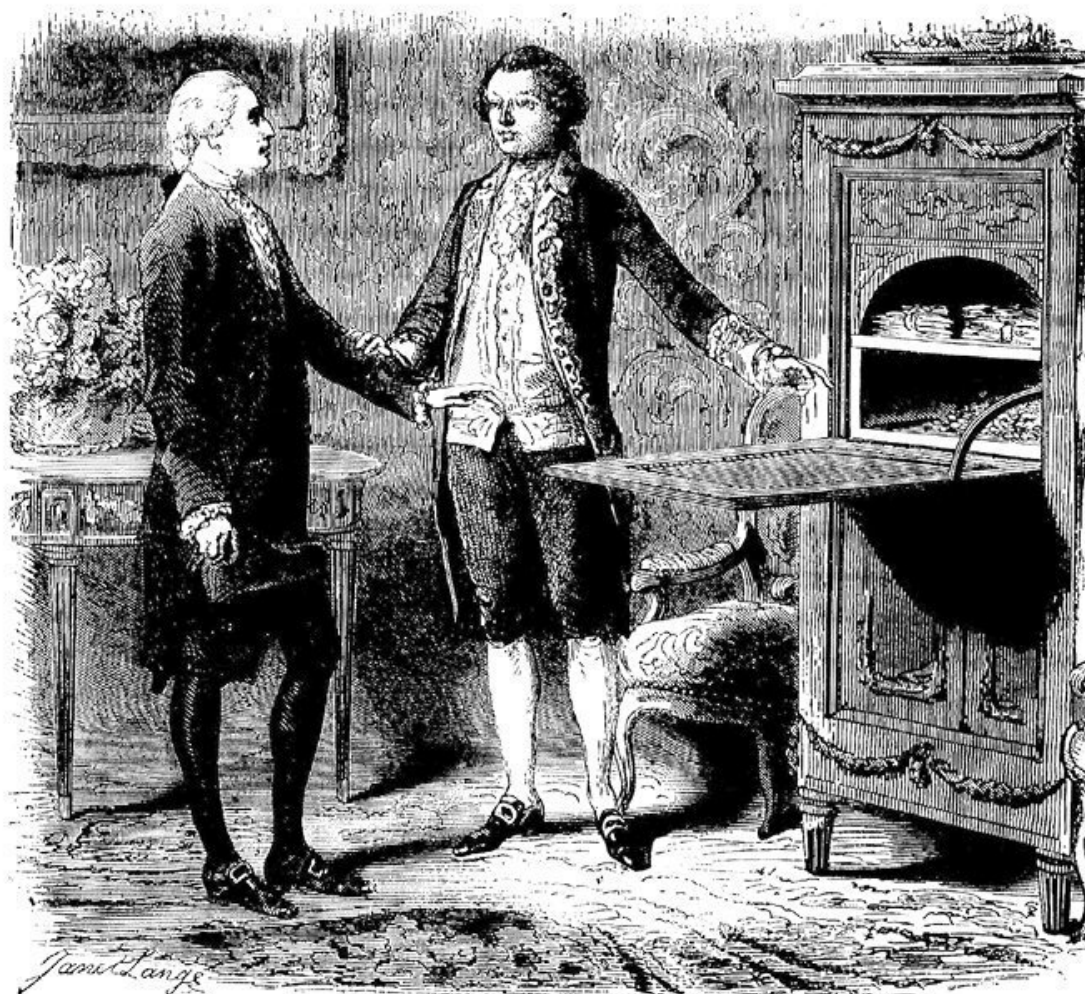
– Что вы тогда будете делать?

– Тогда не станем учреждать республику, а поднимем революцию.

Жильбер низко опустил голову.

– Если дойдет до революции, Жозеф, это будет ужасно! – сказал он.

– Да, ужасно, если на нашем пути встанет много таких сильных людей, как вы, Жильбер.



- Я не силен, друг мой, – возразил Жильбер, – я просто честен.
- Увы, это куда хуже. Вот потому-то я и силюсь вас убедить, Жильбер.
- Я уже убежден.
- В том, что станете нам препятствовать в наших трудах?
- Или по крайней мере попытаемся вас остановить.
- Жильбер, вы с ума сошли. Вы не понимаете, в чем состоит миссия Франции: ведь Франция – это мозг мира; Франция должна мыслить, и мыслить свободно, а весь мир так же свободно будет претворять ее мысли в действия. Знаете ли вы, кто взял Бастилию, Жильбер?
- Народ.
- Вы не понимаете меня, вы принимаете следствия за причины. На протяжении пяти столетий, друг мой, в Бастилию запирали графов, вельмож, принцев, и Бастилия устояла. Но однажды безумному королю пришло в голову запереть мысль, мысль, которой необходимо пространство, простор, бесконечность! Мысль взорвала Бастилию, а в открывшуюся брешь вошел народ.
- Это правда, – прошептал Жильбер.
- Вы помните, что написал Вольтер господину де Шовлену второго марта тысяча семьсот шестьдесят четвертого года, двадцать шесть лет тому назад?
- Что же он написал?
- А вот что: «Все, что я вижу, сеет семена революции, которая неизбежно придет, но мне уже не выпадет радость быть ее свидетелем. Французы всегда приходят с опозданием, но все

же приходят. Просвещение распространяется все ближе и ближе, и при первой возможности произойдет взрыв, тут-то и поднимется великий шум.

Тем, кто молод сейчас, посчастливилось: они увидят великие события!» Что вы скажете о вчерашнем и нынешнем великом шуме?

– Ужасно!

– А о событиях, которые вы видели?

– Чудовищно!

– А ведь это только начало, Жильбер.

– Вы, как всегда, пророчите беды.

– Представьте себе, три дня тому назад я повстречался с одним замечательным врачом-филантропом; знаете ли, чем он сейчас занят?

– Ищет лекарство от какой-нибудь тяжелой хвори, слывущей неизлечимой?

– Вот именно, он ищет средство исцеления, но только не от смерти, а от жизни.

– Что вы имеете в виду?

– Если говорить серьезно, я имею в виду вот что: он считает, что, несмотря на чуму, холеру, желтую лихорадку, оспу, сокрушительные апоплексические удары, сотни и сотни болезней, слывущих неизлечимыми, а также больше тысячи хворей, которые оказываются неизлечимыми, если их принимаются лечить хорошенько; несмотря на пушки, ружья, шпаги, сабли, кинжалы, воду, огонь, падение с крыш, дыбу, колесо – несмотря на все это, он считает, что у нас слишком мало способов расстаться с жизнью, притом что способ явиться в жизнь нам известен один-единственный, а посему он сейчас изобретает весьма замысловатую машину, которую, уж поверьте, хочет облагодетельствовать нацию, машину, которая сможет менее чем за час предавать смерти пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят человек! И как вы думаете, мой дорогой Жильбер, коль скоро такой отменный врач, такой гуманный филантроп, как доктор Гильотен, занимается подобной машиной, не следует ли нам признать, что в машине этой в самом деле ощущается нужда? Тем более что она, эта машина, была мне известна и раньше, она не нова, а лишь позабыта, и я могу это подтвердить: однажды, когда я был в замке у барона де Таверне – да вы же, черт возьми, тоже там были, только вы тогда не сводили глаз с одной крошки по имени Николь, – и когда по воле случая туда явилась королева, которая, правда, тогда была всего лишь дофиной, вернее, она и дофиной еще не была, так вот, я показал ей эту машину в хрустальном графине, и она так перепугалась, что закричала и лишилась чувств. Так вот, мой дорогой, если вы захотите посмотреть, как работает эта машина, которая в те времена существовала еще только в замысле, то в скором времени ее опробуют; я предупрежу вас, когда это будет, и если вы не слепы, то распознаете перст Провидения, предусмотревшего, что наступит день, когда у палача станет чересчур много работы, и придумавшего нечто новое, чтобы он управился с этой работой, которую невозможно исполнить старыми способами.

– Граф, граф, в Америке вы были лучшим утешителем.

– Еще бы, черт побери! Тогда вокруг меня был пробуждающийся народ, а теперь – общество при последнем издыхании: знать, монархия – все здесь спешит напрямик к своей могиле, а могила эта – бездонная пропасть.

– Что ж, уступаю вам знать, любезный граф, тем более что знать сама себя обрекла в достопамятную ночь четвертого августа; но давайте спасем монархию – это палладиум²⁴ нации.

– Громкие слова, дорогой Жильбер! Разве палладиум спас Трою? Спасать монархию? По-вашему, легко спасти монархию при таком короле?

– Но в конце концов, он потомок великого рода.

– Да, рода орлов, выродившихся в попугаев. Для того чтобы утопистам вроде вас, мой милый Жильбер, удалось спасти монархию, надобно прежде всего, чтобы монархия приложила

²⁴ В переносном смысле: защита, оплот (лат.).

хоть какие-то усилия, чтобы спасти себя самое. Скажите по совести, вот вы видели Людовика Шестнадцатого, вы видите его часто, а вы имеете обыкновение изучать тех, кого видите. Ну, положи руку на сердце, скажите, может ли выжить монархия, воплощенная в таком короле? Таким ли вы представляете себе венценосца? Как по-вашему, у Карла Великого, у Людовика Святого, у Филиппа Августа, у Франциска Первого, у Генриха Четвертого и у Людовика Четырнадцатого тоже были такие дряблые икры, отвислые губы, безучастный взгляд, неуверенная осанка? Нет, то были мужчины; под своими королевскими мантиями они были полны жизни, крови, силы; они еще не выродились, передавая из поколения в поколение одни и те же наследственные черты; все дело в том, что эти недалековидные люди пренебрегли простейшим медицинским понятием. Сама природа учит, что для того, чтобы животные и даже растения сохраняли долгую молодость и неизбывную силу, необходимо смешение пород и скрещивание разных семей. В растительном царстве здоровье и красота каждого экземпляра сохраняются благодаря прививке; точно так же у людей браки между слишком близкими родственниками влекут за собой вырождение отдельных особей; когда несколько поколений сменяют друг друга без притока свежей крови, природа страдает, чахнет и вырождается; когда же в зачатии участвует новый и сторонний элемент крови, природа, напротив, обновляется, оживает и возрождается. Взгляните, каковы из себя герои, от которых ведут свое начало знаменитые роды, и сколь слабые люди завершают эти роды: взгляните на Генриха Третьего, последнего Валуа, взгляните на Гастоне, последнего Медичи, взгляните на кардинала Йоркского, последнего Стюарта, взгляните на Карла Шестого, последнего Габсбурга! И эта первая причина вырождения семей, браки между родственниками, сказывающаяся на всех родах, о которых мы сейчас упоминали, еще более отразилась на доме Бурбонов, чем на всех остальных. Так, если проследить родословную Людовика Пятнадцатого до Генриха Четвертого и Марии Медичи, окажется, что Генрих Четвертый – прадед Людовика Пятнадцатого по пяти линиям, а Мария Медичи – по пяти линиям его прабабка. А если проследить его родословную по отношению к Филиппу Третьему Испанскому и Маргарите Австрийской, выйдет, что Филипп Третий по трем линиям его прадед, а Маргарита Австрийская – по трем линиям его прабабка. Как-то на досуге я произвел подсчет: из тридцати двух прадедов и прабабок Людовика Пятнадцатого шестеро принадлежат к дому Бурбонов, пятеро к дому Медичи, одиннадцать к дому австрийских Габсбургов, трое к Савойскому дому, трое к дому Стюартов и одна – датская принцесса. Подвергните такому испытанию самого лучшего породистого пса, самую лучшую породистую лошадь, и в четвертом поколении получите шавку и клячу. Как же, черт побери, вы хотите, чтобы этого закона избежали мы, двуногие? Вы же математик, Жильбер, что вы скажете о моих выкладках?

– Скажу, дорогой колдун, – отвечал Жильбер, вставая и берясь за шляпу, – скажу, что ваши вычисления меня пугают и укрепляют в мысли, что место мое – возле короля.

И Жильбер сделал несколько шагов по направлению к двери.

Калиостро остановил его.

– Послушайте, Жильбер, – сказал он, – вы знаете, как я вас люблю, вы знаете, что я готов на неисчислимые страдания, лишь бы уберечь от страданий вас. Так поверьте же мне. Примите один совет.

– Каков совет?

– Королю нужно бежать, королю нужно покинуть Францию... пока еще есть время! Через год, через полгода, быть может, через три месяца будет уже поздно.

– Граф, – возразил Жильбер, – посоветуете ли вы солдату уйти с поста на том основании, что оставаться на посту опасно?

– Если этого солдата окружили, обложили, теснят со всех сторон, выбили у него из рук оружие, так что он не в силах обороняться, а главное, если, рискуя собой, он подвергает опасности полмиллиона человеческих жизней, – да, в этом случае я посоветую ему бежать. И вы, Жильбер, скажете это королю. И король потом уже прислушается к вам, но будет поздно.

Так не откладывайте на завтра, скажите ему это сегодня; не дожидайтесь вечера, скажите ему это через час.

– Вы знаете, граф, по убеждениям я фаталист. Будь что будет! Если я буду иметь влияние на короля, король останется во Франции, а сам я останусь рядом с королем. Прощайте, граф, увидимся на войне и, быть может, уснем бок о бок на поле брани.

– Что ж, – прошептал Калиостро, – видно, как бы ни был умен человек, от судьбы ему никуда не уйти. Я искал вас, чтобы сказать вам то, что сказал, и вы меня слышали. Мои пророчества бесполезны, как пророчества Кассандры. Прощайте!

– Ну скажите откровенно, граф, – попросил Жильбер, остановившись на пороге гостиной и пристально глядя на Калиостро, – неужели и здесь, как в Америке, вы хотите меня уверить, что читаете судьбы людей по их лицам?

– Да, Жильбер, – отвечал Калиостро, – так же безошибочно, как ты прочитываешь в небе путь, по которому движутся светила, которые большинству людей кажутся неподвижными или блуждающими по воле случая!

– Но послушайте, кто-то стучится в дверь.

– Да, правда.

– Откройте мне судьбу человека, который стучит в дверь, кто бы он ни был; скажите, какой смертью он умрет и когда это случится.

– Хорошо, – произнес Калиостро, – идемте откроем ему вместе.

Когда Жильбер миновал коридор, описанный выше, он трепетал и не мог унять сердцебиения, хоть и сказал сам себе потихоньку, что принимать всерьез это шарлатанство просто нелепо.

Дверь отворилась.

На пороге показался человек благородной внешности, высокий, с волевым выражением лица; он бросил на Жильбера быстрый взгляд, в котором сквозило беспокойство.

– Добрый день, маркиз, – сказал Калиостро.

– Добрый день, барон, – отозвался вошедший.

Заметив, что взгляд посетителя вновь обратился на Жильбера, Калиостро произнес:

– Маркиз, это доктор Жильбер – один из моих друзей. Дорогой Жильбер, маркиз де Фаврас – один из моих клиентов.

Мужчины обменялись поклонами.

– Маркиз, – продолжал Калиостро, – благоволите пройти в гостиную и немного подождать, через пять секунд я буду к вашим услугам.

Маркиз, вторично поклонившись, прошел мимо Жильбера и Калиостро и скрылся в гостиной.

– Ну что? – спросил Жильбер.

– Вы хотите знать, какой смертью умрет маркиз?

– А разве вы не обещали мне это сказать?

Калиостро улыбнулся странной улыбкой, потом оглянулся, чтобы убедиться, что его не подслушивают, и произнес:

– Вы видали, как вешают дворянина?

– Нет.

– Любопытное зрелище. Приходите на Гревскую площадь в тот день, когда вздернут маркиз де Фаврас.

Потом, подведя Жильбера к двери, ведущей на улицу, он добавил:

– Посмотрите: когда пожелаете прийти ко мне, не звоня в дверь, так, чтобы никто вас не видел и чтобы вы сами никого не видели, кроме меня, нажмите кнопку сперва справа налево, а потом снизу вверх, вот так... Прощайте, извините меня: нехорошо заставлять ждать тех, кому недолго осталось жить на свете.

И он ушел в дом, ошелолив Жильбера такой уверенностью, которая возбудила в нем изумление, но не смогла победить его недоверие.

Глава V Тюильри

Все это время король, королева и королевское семейство следовали далее по пути в Париж.

Из-за всех этих гвардейцев, которые шли пешком, из-за рыбных торговцев, которые восседали на лошадях, одетые в латы, из-за всех этих рыночных торговцев и торговцев, оседлавших разукрашенные лентами пушки, из-за сотни карет с депутатами, из-за двух или трех сотен повозок с зерном и мукой, захваченных в Версале и покрытых пожелтелой осенней листвой, кортеж двигался так медленно, что королевский экипаж, в избытке отягченный горем, ненавистью, страстями и невинностью, добрался до заставы только к шести часам.

Маленький принц в дороге проголодался и попросил есть. Королева оглянулась по сторонам: раздобыть для дофина немного хлеба было легче легкого, потому что каждый простолюдин нес хлеб, наколотый на штык.

Она поискала глазами Жильбера.

Жильбер, как мы знаем, последовал за Калиостро.

Если бы Жильбер был здесь, королева без колебаний обратилась бы к нему за куском хлеба.

Но она не желала обращаться с подобной просьбой к простонародью, внушавшему ей отвращение.

Поэтому она прижала дофина к груди и со слезами сказала ему:

– Дитя мое, у нас нет хлеба; потерпи до вечера, может быть, он появится у нас вечером.

Дофин указал ручонкой на мужчин, которые несли целые хлебы на остриях штыков.

– А у тех людей есть, – сказал он.

– Да, дитя мое, но это их хлеб, а не наш, и они явились за ним в Версаль, потому что, по их словам, в Париже его нет уже три дня.

– Уже три дня? – отозвался ребенок. – Значит, они не ели уже три дня, мама?

Обычно дофин, согласно требованиям этикета, звал мать государыней, но теперь бедный ребенок был голоден, как дети простых бедняков, и, проголодавшись, назвал свою мать «мамой».

– Да, сын мой, – отвечала королева.

– Стало быть, они очень голодные! – со вздохом заключил мальчик.

И, более не жалуясь, он попытался уснуть.

Бедный принц! Перед тем как умереть, ему не раз еще предстояло, как теперь, напрасно просить хлеба!

У заставы снова остановились, на сей раз не ради отдыха, а для того, чтобы отпраздновать прибытие.

Празднование выражалось в песнях и плясках.

Странная это была остановка: всеобщая радость была, пожалуй, не менее угрожающей, чем прежние ужасы.

И впрямь, рыбные торговки слезли с лошадей, принадлежавших прежде гвардейцам; к лукам седел они привязали сабли и карабины; базарные бабы и крючники слезли с пушек, которые явились в своей грозной наготе.

Все они стали в хоровод, окружив карету короля и отделив ее от национальной гвардии и депутатов, что как нельзя лучше символизировало грядущие события.

Этот хоровод с самыми лучшими намерениями, желая выказать королевской семье свою радость, распевал, кричал, выл, женщины чмокали мужчин, мужчины подбрасывали женщин, словно на циничных кермессах Тенирса²⁵.

Тем временем уже почти стемнело, а день был пасмурный и дождливый, так что хоровод, освещенный только пушечными фитилями да шутихами, представлял собой благодаря всем этим оттенкам света и тени фантастическое и едва ли не адское зрелище.

После криков, воплей, пения, плясок в грязи, продолжавшихся с полчаса, процессия оглушительно проорала «ура»; все, у кого только были заряженные ружья, – мужчины, женщины, дети – дали по выстрелу в воздух, не думая о пулях, которые мгновение спустя с хлопком попадали в лужи, как крупные градины.

Дофин и его сестра заплакали: было так страшно, что они забыли про голод.

Проследовав по чередке набережных, кортеж въехал на площадь Ратуши.

Там были выстроены в каре войска, которые должны были не допустить в ратушу никого, кроме королевской семьи и членов Национального собрания.

Тут королева заметила Вебера, своего доверенного лакея и молочного брата, австрийца, который прибыл вместе с ней из Вены; он силился миновать пикет и проникнуть вместе с ней в ратушу.

Она окликнула его.

Вебер бросился к ней.

Заметив в Версале, что национальная гвардия нынче в чести, Вебер оделся волонтером национальной гвардии и дополнил простой мундир знаками отличия офицера штаба: благодаря этому он выглядел внушительнее и мог принести больше пользы королеве.

Шталмейстер королевы дал ему коня.

Чтобы ни в ком не возбуждать подозрений, он всю дорогу держался в стороне, готовый, разумеется, тут же приблизиться к королеве, если в том будет нужда.

И едва королева его узнала и окликнула, он мигом очутился с ней рядом.

– Зачем ты так стараешься миновать пикет, Вебер? – спросила королева, по привычке обращаясь к нему на «ты».

– Чтобы быть рядом с вами, ваше величество.

– В ратуше ты мне совершенно не нужен, Вебер, – сказала королева, – а вот в другом месте мог бы принести пользу.

– Где же это, ваше величество?

– В Тюильри, дорогой Вебер, в Тюильри: там никто нас не ждет и, если ты не поспешишь туда прежде нас, мы не найдем там ни постели, ни спальни, ни куска хлеба.

– А! Превосходная мысль, государыня! – заметил король.

Королева говорила по-немецки, а король, понимавший немецкий язык, но не говоривший на нем, ответил ей по-английски.

Народ слышал их разговор, но не понял. В ответ на чужеземную речь, к которой народ питал инстинктивное отвращение, вокруг кареты поднялся ропот, грозивший перерасти в рев, но тут каре расступилось, пропуская карету королевы, и сомкнулось за ней.

Байи²⁶ – один из трех самых популярных людей в те дни, уже появлявшийся в поле нашего зрения во время первого путешествия короля, – теперь, в конце этого второго путешествия, во время которого штыки, ружья и жерла пушек прятались под позабытыми букетами цветов, ждал короля и королеву у подножия наспех приготовленного для них трона, непрочного, кое-как сбитого, поскрипывавшего под бархатной обивкой, воистину временного трона!

²⁵ *Тенирс Давид Младший* (1610–1690) – фламандский художник, мастер жанровых сцен, в том числе изображающих кермессы, народные ярмарочные гулянья.

²⁶ *Байи Жан Сильвен* (1736–1793) – французский литератор и астроном, после взятия Бастилии – мэр Парижа. Впоследствии казнен.

По поводу этого второго приезда мэр Парижа сказал примерно то же, что и по поводу первого.

Король отвечал:

– Я всегда с радостью и доверием возвращаюсь к жителям моего доброго города Парижа.

Король говорил тихо, голос у него сел от усталости и голода. Чтобы его слова услышали все, Байи громко повторил их.

Однако он – не то с умыслом, не то невольно – пропустил два словца: «и доверием».

Это не ускользнуло от королевы.

Горечь ее была рада обнаружить хоть какую-то щелку и прорваться сквозь нее наружу.

– Простите, господин мэр, – вмешалась королева достаточно громко, чтобы окружающие слышали все, что она говорит, – но вы или недослышали, или у вас короткая память.

– Что вы имеете в виду, ваше величество? – пролепетал Байи, обратив на королеву взор астронома, ясно различающего все, что происходит на небе, но скверно видящего то, что творится на земле.

У нас в каждой революции участвует свой астроном, а на пути у этого астронома предательски маячит колодец, в который ему предстоит свалиться.

Королева продолжала:

– Король сказал, сударь, что всегда с радостью и доверием возвращается к жителям своего доброго города Парижа. Можно усомниться в том, что он испытывает радость, но по крайней мере пускай люди знают, что он возвращается с доверием.

Затем она поднялась по трем ступеням трона и села рядом с королем, готовая выслушать речи выборщиков.

Тем временем Вебер, перед лошастью которого благодаря его мундиру офицера штаба расступалась толпа, добрался до дворца Тюильри.

С давних пор королевская резиденция в Тюильри, как называли когда-то этот дворец, выстроенный Екатериной Медичи, которая жила в нем совсем недолго, после чего Карл IX, Генрих III, IV, Людовик XIII отвергли его ради Лувра, а Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI – ради Версаля, оставалась всего лишь запасным помещением при королевских дворцах; там жили некоторые придворные, но ни король, ни королева никогда там не показывались.

Вебер обошел покои и, зная привычки короля и королевы, выбрал те, в которых обитала графиня де ла Марк, а также апартаменты маршалов де Ноайля и де Муши.

В том, что выбор пал на покои г-жи де ла Марк, которая немедля их освободила, были свои преимущества: помещение было полностью пригодно для приема королевы, в том числе мебель, белье, шторы и ковры, которые Вебер откупил.

Часов в десять послышался стук кареты, в которой прибыли их величества.

Все было готово, и Вебер, выбежав навстречу своим августейшим хозяевам, воскликнул:

– Услужайте королю!

Вошли король, королева, ее высочество принцесса, дофин и Мадам Елизавета.

Граф Прованский вернулся в Люксембургский замок.

Король беспокойно озирался по сторонам, но, вступив в гостиную, он сквозь полуприоткрытую дверь, ведущую в галерею, увидел, что в конце галереи приготовлен ужин.

Тут же дверь распахнулась, и появился придверник со словами:

– Ваше величество, кушать подано.

– О, до чего распорядителен этот Вебер! – радостно ахнул король. – Государыня, скажите ему от моего имени, что я весьма им доволен.

– Не премину, государь, – отвечала королева.

И, вторя вздохом королевскому восклицанию, она вошла в столовую.

Приборы были приготовлены для короля, для королевы, для ее королевского высочества, для дофина и для Мадам Елизаветы.

Для Андреа прибора не было.

Подхлестываемый голодом, король не заметил этого упущения, в котором, впрочем, не было ничего обидного, поскольку оно диктовалось строжайшим исполнением этикета.

Но королева, от которой ничто не ускользало, заметила это с первого взгляда.

– Не правда ли, ваше величество, вы позволите графине де Шарни отужинать вместе с нами? – сказала она.

– А как же! – воскликнул король. – Мы ужинаем нынче в семейном кругу, а графиня – член нашей семьи.

– Государь, – осведомилась графиня, – король приказывает мне ужинать с вами?

Король удивленно взглянул на графиню.

– Нет, сударыня, – отвечал он, – король просит вас об этом.

– В таком случае, – возразила графиня, – прошу у короля прощения, но я не голодна.

– Как! Вы не голодны? – вскричал король, который не мог понять, как это можно не испытывать голода в десять часов вечера после столь изнурительного дня, притом что в последний раз ели в десять утра, да и то кое-как.

– Не голодна, государь, – подтвердила Андреа.

– И я тоже, – сказала королева.

– И я, – повторила Мадам Елизавета.

– О, вы не правы, сударыня, – возразил король, – от состояния желудка зависит состояние всего тела и даже духа, об этом есть притча у Тита Ливия, которую пересказали Шекспир и Лафонтен; советуя вам поразмыслить над нею.



– Мы знаем, ваше величество, – сказала королева, – эту басню старец Менений²⁷ рассказывал римскому народу в день мятежа. В тот день римский народ восстал, как нынче французский. Так что вы правы, ваше величество, эта басня как нельзя лучше подходит к случаю.

– И что же, – осведомился король, протягивая тарелку за второй порцией овощного супа, – эта историческая параллель вас не убеждает, графиня?

– Нет, ваше величество, мне стыдно вам признаться, но при всем желании, государь, я не в силах вам противиться.

– Напрасно, графиня, суп в самом деле отменный! Почему мне никогда прежде его не готовили?

– Да ведь у вас нынче другой повар, это повар графини де ла Марк, чьи покои мы заняли.

– Я оставляю его у себя на службе и желаю видеть его в числе своей челяди. Этот ваш Вебер воистину волшебник, государыня!

– Да, – печально шепнула королева, – какое несчастье, что нельзя назначить его министром.

Король не расслышал или не пожелал расслышать, но когда он увидел, что Андреа, очень бледная, стоит на ногах, в то время как королева и Мадам Елизавета хоть едят не больше, чем Андреа, но все же сидят за столом, то обернулся к графине де Шарни.

– Сударыня, – сказал он, – пускай вы не голодны, но не станете же вы утверждать, будто не устали; если от еды вы отказались, то, быть может, не откажетесь поспать?

Затем он обратился к королеве:

– Государыня, прошу вас, отпустите графиню де Шарни: сон заменит ей пищу. – И добавил для прислуги: – Надеюсь, что с постелью для графини де Шарни не получилось то же, что с прибором, и ей не забыли приготовить спальню?

– О, государь, – вступилась Андреа, – разве посреди всех этих тревог кому-нибудь могло быть дело до меня? Достаточно будет кресла.

– Ну нет, ну нет, – возразил король, – вы уже не спали или почти не спали прошлую ночь, и теперь вам нужно выспаться; королева нуждается не только в собственных силах, но и в силах своих друзей.

Тем временем вошел лакей, который отправился все разузнать.

– Господин Вебер, – сказал он, – зная величайшую благосклонность, которой королева удостоивает графиню, и полагая, что королева будет довольна таким распоряжением, велел приготовить ее сиятельству графине спальню, смежную со спальней ее величества.

Королева содрогнулась: ей сразу пришло в голову, что, коль скоро графине отведена только одна спальня, значит эту спальню будет делить с графиней и граф.

Андреа заметила дрожь, пробежавшую по членам королевы.

Каждая из обеих женщин неуклонно замечала любое чувство другой.

– Я согласна, но только на эту ночь, государыня. Покои ее величества и так слишком скромны, и я не хотела бы занимать в них спальню, стесняя ее удобства. В верхнем этаже замка наверняка найдется для меня уголок.

Королева невнятно пролепетала несколько слов.

– Вы правы, графиня, – заключил король, – поищем завтра и разместим вас, насколько это возможно, самым наилучшим образом.

Графиня присела в почтительном реверансе перед королем, королевой, Мадам Елизаветой и вышла вслед за лакеем.

Король мгновение провожал ее взглядом, забыв опустить повисшую в воздухе вилку.

²⁷ *Менений Агриппа* – римский консул в 503 г. до н. э., рассказавший мятежному римскому народу на Авентинском холме известную притчу о частях тела (Шекспир, «Кориолан», I, 1; Лафонтен, «Басни», III, 2, «Части тела и чрево»).

– В самом деле, очаровательное создание эта женщина! – сказал он. – Какая удача для графа де Шарни – найти при этом дворе редкостное чудо!

Королева откинулась на спинку кресла, чтобы скрыть бледность – не от короля, который бы ничего не заметил, а от Мадам Елизаветы, которая перепугалась бы.

Мария-Антуанетта была близка к обмороку.

Глава VI

Четыре свечи

Как только дети завершили трапезу, королева попросила у короля позволения удалиться к себе в спальню.

– Охотно разрешаю, государыня, – ответил король, – ведь вы, должно быть, устали; но только до утра вы наверняка проголодаетесь, так что велите, чтобы вам приготовили какие-нибудь закуски.

Королева, не отвечая, вышла с обоими детьми.

Король остался за столом, он еще не кончил ужинать. Принцесса Елизавета, чьей преданности не могла поколебать даже вульгарность, с какой вел себя подчас Людовик XVI, осталась возле короля, чтобы позаботиться о нем в мелочах, которые ускользают от самых вышколенных слуг.

Очутившись у себя в спальне, королева перевела дух: никто из камеристок не сопровождал ее, потому что королева приказала им оставаться в Версале впредь до ее распоряжений.

Итак, она принялась подыскивать для себя достаточно просторное канапе или кресло, поскольку в свою постель она собиралась уложить детей.

Маленький дофин уже спал: как только бедное дитя утолило голод, его сморил сон.

Ее королевское высочество не спала и в случае надобности готова была не спать всю ночь: ее высочество очень многое унаследовала от матери.

И вот принцесса и королева, оставив маленького принца в кресле, стали осматриваться в поисках необходимого.

Королева приблизилась к одной из дверей и уже хотела было ее отворить, как вдруг из-за двери до нее донесся тихий вздох. Она прислушалась и различила еще один вздох. Тогда она склонилась к замочной скважине и увидела Андреа: та молилась, преклонив колени на низком стульчике.

Королева на цыпочках отступила, не отрывая от двери взгляда, в котором застыло какое-то горестное выражение.



Напротив этой двери была другая. Королева отворила ее и очутилась в хорошо натопленной спальне, освещенной ночником, в свете которого она с радостным трепетом обнаружила две постели, белоснежные и чистые, как два алтаря.

На душе у нее полегчало, и из-под ее пересохших, бесчувственных век выкатились две слезы.

– Ах, Вебер, Вебер, – прошептала она, – королева изъявила королю сожаление, что тебя нельзя назначить министром, но мать скажет, что ты заслужил большего.

Затем она решила, что первым делом надо уложить в постель ее королевское высочество, поскольку маленький дофин уже спал. Но та со всем почтением, которое она неизменно питала к матери, попросила у нее дозволения остаться на ногах и помочь самой королеве поскорее лечь в постель.

Королева печально улыбнулась: дочь ее воображала, будто она сможет уснуть после целой ночи смертной тоски, после целого дня унижений! Но она предпочитала оставить принцессу в этом приятном заблуждении.

Итак, сначала уложили дофина.

Потом ее высочество, по обыкновению, опустилась на колени у изножья постели и стала молиться.

Королева ждала.

– Мне кажется, ты молишься дольше обычного, Тереза? – сказала она юной принцессе.

– Это потому, что мой брат уснул, забыв помолиться, бедное дитя! – отвечала ее королевское высочество. – А поскольку он привык всякий вечер молиться за вас и за короля, я после своей стала читать его коротенькую молитву, чтобы ничего из наших просьб к Богу не оказалось пропущено.

Королева обняла дочь и прижала ее к груди.

Заботы доброго Вебера дали выход ее слезам, а благочестие принцессы исторгло из глаз ее целый их поток, живой и обильный, и слезы эти, напоенные глубокой печалью, но не горечью, заструились по щекам.

Неподвижно застыв над постелью ее высочества, она стояла, подобно ангелу Материнства, покуда глаза юной принцессы не сомкнулись и мать не почувствовала, как руки девочки, любовно и ласково сжимавшие ее руки, расслабились и разжались.

Тогда она тихонько опустила руки дочери, укрыла ее, чтобы принцесса не замерзла, если спальня за ночь выстудится; потом, запечатлев на лбу будущей мученицы поцелуй, легкий, как дуновение, и нежный, как сон, она вернулась к себе в спальню. Эту комнату освещал канделябр с четырьмя свечами.

Канделябр стоял на столе.

Стол был покрыт красным ковром.

Королева присела к столу и, уронив голову, стиснула ее обеими руками, сжатыми в кулаки; ее неподвижный взгляд был устремлен прямо, так что в поле ее зрения попадал только расстеленный перед ней красный ковер.

Два-три раза она машинально встряхнула головой, раздраженная этим красным отблеском: ей казалось, что глаза ее наливаются кровью, в висках раздается лихорадочный стук, а в ушах шумит.

Потом, словно в зыблющемся тумане, перед ней прошла вся ее жизнь.

Она вспомнила, что родилась 2 ноября 1755 года, в день лиссабонского землетрясения, от которого погибло более пятидесяти тысяч человек и рухнуло двести церквей.

Она вспомнила, что в той первой спальне, где она ночевала в Страсбурге, был гобелен, изображавший избиение младенцев, и в ту самую ночь, в неверном свете ночника, ей почудилось, будто у всех этих несчастных детей течет кровь из ран, а на лицах убийц проступает такая страшная жестокость, что она в ужасе стала звать на помощь и приказала с первыми лучами рассвета ехать прочь из этого города, оставившего у нее столь ужасные воспоминания о первой ночи, проведенной во Франции.

Она вспомнила, что по дороге в Париж остановилась в доме барона де Таверне; там она впервые встретила этого негодяя Калиостро, который потом, во время истории с ожерельем, оказал такое ужасное влияние на ее судьбу; и во время этой остановки – она и теперь так живо

помнилась ей, словно это случилось накануне, хотя с тех пор протекло уже двадцать лет, – по настоянию Марии-Антуанетты он показал ей в графине какое-то чудовищное изображение – ужасную и незнакомую машину смерти, а у подножия машины – покотившуюся отрубленную голову, и то была голова Марии-Антуанетты!

Она вспомнила, что, когда г-жа Лебрен²⁸ писала портрет с нее, молодой тогда женщины, прекрасной и еще счастливой, она – несомненно, по небрежности, но какая зловещая примета! – придала ей ту же позу, что на портрете Генриетты Английской, жены Карла I.

Она вспомнила, что в день, когда она впервые въехала в Версаль и, выходя из кареты, ступила на унылые плиты, которыми был вымощен мраморный двор, где вчера у нее на глазах пролилось столько крови, слева от нее небо прочертила молния, а затем прогремел столь ужасный раскат грома, что маршал де Ришелье, человек не робкого десятка, покачал головой и произнес: «Дурная примета!»

И покуда она все это вспоминала, перед глазами у нее клубился красноватый туман, становясь, как ей казалось, все гуще и гуще.

В комнате сделалось столь явно темнее, что королева подняла взгляд на канделябр и убедилась, что одна из свечей ни с того ни с сего только что погасла.

Мария-Антуанетта вздрогнула: свеча еще дымилась и совершенно непонятно было, в чем причина ее угасания.

С удивлением глядя на канделябр, королева заметила, что соседняя с потухшей свеча постепенно тускнеет и пламя ее мало-помалу из белого становится красным, из красного – голубоватым; потом оно истончилось, вытянулось вверх, затем словно оторвалось от фитиля и взлетело и, наконец, поколебавшись один миг от чьего-то дыхания, угасло.

Королева растерянным взглядом следила за агонией этой свечи, грудь ее все сильнее трепетала, простертые руки все ближе тянулись к канделябру с догоравшей свечой. Когда она наконец угасла, Мария-Антуанетта закрыла глаза, откинулась на спинку кресла и провела руками по лбу, обнаружив, что по нему струится пот.

Так, с закрытыми глазами, просидела она не меньше десяти минут, а когда она их открыла, то в ужасе обнаружила, что уже третья свеча начала мигать, как первые две.

Сперва Мария-Антуанетта подумала, что это сон и что она очутилась во власти какой-то роковой галлюцинации. Она попыталась встать, но ей показалось, будто она прикована к креслу. Она попыталась позвать принцессу, которую десять минут назад не согласилась бы потревожить ценой еще одной короны; но голос замер у нее в гортани; она попыталась повернуть голову, но осталась неподвижна, словно третья умирающая свеча притягивала к себе ее взор и дыхание. Наконец ее пламя, так же как пламя второй свечи, стало менять цвет, принимать разные оттенки, затем побледнело, вытянулось, качнулось справа налево, слева направо и погасло.

Тогда королеву обуял такой непреодолимый ужас, что она почувствовала, как к ней вернулся дар речи. Она заговорила сама с собой, чтобы вернуть себе храбрость, которая покинула ее.

– Я не тревожусь, – произнесла она вслух, – о том, что случилось с первыми тремя свечами, но если и четвертая погаснет, как те три, тогда горе мне, горе!

Внезапно без всякого перехода, как то было прежде, пламя четвертой свечи, не изменившись в цвете, не вытянувшись, не заколебавшись, погасло, словно его походя задело крыло смерти.

Королева испустила ужасный крик, вскочила, дважды повернулась, колотя руками темноту, и рухнула без чувств.

²⁸ Имеется в виду Элизабет Луиза Виже-Лебрен (1755–1842) – французская художница-портретистка. Портрет Марии-Антуанетты написан ею в 1783 г.

Едва раздался стук от падения тела, как дверь в соседнюю комнату отворилась и на пороге показалась Андреа в батистовом пеньюаре, белая и бессловесная, как призрак.

На мгновение она остановилась, словно перед ее взором посреди темноты клубился туман; она прислушалась, словно уловила в воздухе шорох, с каким разворачивают складки савана.

Затем, потупив взгляд, она заметила на полу распростертую в обмороке королеву.

Она отступила на шаг, словно первым ее движением было удалиться; но, сразу же овладев собой, без единого слова, без расспросов – да расспросы были бы, в сущности, бесполезны, – не спрашивая у королевы, что с ней такое, она подняла Марию-Антуанетту с пола и с неожиданной силой, при свете только тех двух свечей, что горели в ее спальне и сквозь дверной проем скудно освещали комнату королевы, перенесла ее в постель.





Затем, достав из кармана флакон с нюхательной солью, она приблизила его к ноздрям Марии-Антуанетты.

Обморок был настолько глубок, что, несмотря на действенность соли, лишь на исходе десяти минут Мария-Антуанетта испустила вздох.

Услышав этот вздох, возвещавший, что королева возвращается к жизни, Андреа снова испытала соблазн удалиться, но в этот раз, как и в прошлый, ее удержало сознание долга, которое было в ней так сильно.

Она только убрала руку, которой поддерживала голову Марии-Антуанетты, приподнимая ее, чтобы на лицо или на грудь королевы не капнул едкий уксус, в котором была растворена соль. Одновременно ей пришлось убрать от ее лица флакон.

Голова королевы упала на подушку; едва флакон отодвинули, Мария-Антуанетта вновь погрузилась в обморок, казалось еще более глубокий, чем в прошлый раз.

Все так же холодно, скупыми движениями, Андреа опять приподняла ее и подставила ей нюхательную соль, которая вновь оказала свое действие.

По всему телу королевы пробежала легкая дрожь, Мария-Антуанетта вздохнула, открыла глаза; собравшись с мыслями, она вспомнила зловещую примету и, чувствуя, что рядом с ней другая женщина, обняла ее обеими руками за шею с криком:

– Ох, защитите меня! Спасите меня!

– Ваше величество, вы не нуждаетесь в защите, потому что вы здесь среди друзей, – отвечала Андреа, – а от обморока, который с вами приключился, вы, как мне кажется, уже спасены.

– Графиня де Шарни! – вскричала королева, разжимая объятия, в которые она заключила Андреа, и непроизвольно почти отталкивая ее.

От Андреа не ускользнуло ни это движение, ни чувство, которым оно было вызвано.

Но в первое мгновение она осталась неподвижна и словно бесчувственна.

Потом, отступив на шаг, она осведомилась:

– Ваше величество, прикажете помочь вам раздеться?

– Нет, графиня, благодарю, – неверным голосом ответила королева, – я разденусь сама. Ступайте к себе, вы, должно быть, сильно нуждаетесь в сне.

– Я вернусь к себе, но не с тем, чтобы спать, государыня, – возразила Андреа, – а чтобы охранять сон вашего величества.

И, присев перед королевой в почтительном поклоне, она удалилась к себе медленной, торжественной поступью, какой ходили бы статуи, если бы статуи умели ходить.

Глава VII

Дорога в Париж

В тот же вечер, когда свершились события, о которых мы только что рассказали, случилось еще одно, не менее важное происшествие, взволновавшее весь коллеж аббата Фортье.

Часов в шесть вечера исчез Себастьян Жильбер, и, несмотря на то что сам аббат и его сестра, м-ль Александрина Фортье, усердно искали его по всему дому, он не нашелся до полуночи.

Расспросили всех, но никто не знал, что случилось с мальчиком.

Только тетя Анжелика, когда около восьми вечера выходила из церкви, где она расставляла стулья, как будто заметила его: мальчик свернул в переулок между церковью и тюрьмой и бегом бежал к Цветнику.

Вместо того чтобы успокоить аббата Фортье, это сообщение встревожило его еще больше. Он знал, что Себастьяном порой овладевали странные галлюцинации, во время которых ему являлась женщина, называвшая себя его матерью, и много раз на прогулках аббат, помня об этих его припадках, следовал за ребенком глазами, когда замечал, что тот слишком углубился в лес, а если опасался потерять его из виду, тут же отряжал за ним лучших в коллеже бегунов.

И всегда они находили мальчика запыхавшимся, на грани обморока, прислонившимся к какому-нибудь дереву или растянувшимся во мху, на зеленом ковре, который устилал густые лесные заросли.

Но такие припадки никогда не настигали Себастьяна вечером; никогда не приходилось разыскивать его по ночам.

Должно быть, с мальчиком приключилось нечто необычайное, но напрасно аббат Фортье ломал себе голову – он не мог догадаться, что же произошло.

Тетя Анжелика не ошиблась: она видела именно Себастьяна Жильбера, когда он скользнул в темноту и во всю прыть понесся через ту часть парка, которую именовали Цветником.

Добравшись до Цветника, он направился на Фазаний двор; затем, миновав Фазаний двор, бросился в узкую просеку, которая вела напрямик в Арамон.

Через три четверти часа он был в деревне.

Теперь, когда мы знаем, что целью побега Себастьяна была деревня Арамон, нам нетрудно догадаться, что ему было там нужно.

Себастьян хотел повидать Питу.

К несчастью, Питу выходил из деревни с одной стороны в тот миг, когда Себастьян входил в нее с другой стороны.

Как мы помним, Питу после пира, который задала сама себе национальная гвардия Арамона, по окончании которого он, наподобие античного воина, устоял на ногах, когда все остальные были повержены наземь, устремился на поиски Катрин, как мы опять-таки помним, обнаружил ее на дороге из Виллер-Котре в Писле в обмороке, всю застывшую, словно с последним жарким поцелуем Изидора из тела ее ушло все тепло.

Жильбер всего этого не знал; он пошел напрямик к хижине Питу и обнаружил, что она стоит отворенная.

Питу жил в такой простоте, что не имел необходимости держать дверь на запоре, был он дома или в отсутствии. Впрочем, даже будь у него привычка тщательно затворять дверь, нынче вечером на него навалились такие заботы, что он наверняка позабыл бы соблюсти эту предосторожность.

Себастьян знал жилище Питу как свое собственное, он разыскал трут и кремень, нашел нож, служивший Питу огнивом, поджег трут, от трута засветил свечу и стал ждать.

Но Себастьян был слишком возбужден, чтобы ждать спокойно, а главное, чтобы ждать долго. Он без конца метался от очага к двери, от двери до угла улицы; потом, как сестрица Анна, никого не видя на дороге, возвращался к дому, чтобы убедиться, что Питу не вернулся в его отсутствие.

Наконец, видя, что время идет, он приблизился к хромоногому столу, на котором были чернила, перья и бумага.

На верхнем листе бумаги были написаны имена, фамилии и возраст тридцати трех мужчин – весь личный состав арамонской национальной гвардии, находившийся под началом у Питу.

Себастьян аккуратно снял этот верхний лист, шедевр каллиграфии главнокомандующего, который для пользы дела не брезговал подчас опускаться до работы штабного писаря.

На следующем листе Себастьян написал:

Мой дорогой Питу!

Я приходил, чтобы рассказать, что неделю назад слышал между аббатом Фортье и викарием Виллер-Котре один разговор. Похоже, аббат Фортье находится в преступных сношениях с парижскими аристократами; он говорил викарию, что в Версале готовится контрреволюция.

Позже мы узнали о том жесте королевы, когда она нацепила черную кокарду, а трехцветную растоптала ногами.

Эта угроза контрреволюции и то, что нам стало известно позже о событиях, последовавших за банкетом, уже сильно встревожили меня из-за моего отца; ведь ты знаешь, что он враг аристократов, но нынче вечером, милый Питу, я узнал кое-что похуже.

Викарий пришел повидать кюре, а поскольку я боюсь за отца, я подумал, что ничего худого не будет, если я подслушаю продолжение того, что на днях услышал случайно.

Говорят, мой милый Питу, что народ пошел на Версаль; он перебил много людей, и в их числе господина Жоржа де Шарни.

Аббат Фортье добавил:

– Давайте будем говорить тише, чтобы не встревожить маленького Жильбера: его отец уехал в Версаль и его тоже могли убить, как других.

Как ты понимаешь, мой милый Питу, большие я слушать не стал. Я тихонько выскользнул из своего укрытия, так что никто меня не услышал; пробрался через сад, очутился на площади перед замком и бегом припустил к тебе, чтобы просить тебя отвезти меня в Париж, что и не преминул бы сделать, причем от всей души, если бы ты оказался здесь.

Но тебя нет дома, и, может быть, ты вернешься поздно, если отправился в лес Виллер-Котре ставить силки; а если ты пробудешь там до утра, то я тебя не дождусь, потому что тревога моя слишком велика.

Поэтому я отправлюсь один; будь спокоен, дорогу я знаю. Впрочем, у меня осталось два ливора из денег, которые мне дал отец, и я сяду в первую же карету, какую встречу по дороге.

Р. С. Я написал такое длинное письмо, во-первых, чтобы объяснить тебе причину моего отъезда, а потом, я все-таки надеялся, что ты вернешься, пока я его пишу.

Но я дописал, ты не вернулся, и я ухожу! Прощай или, вернее, до свидания: если с моим отцом ничего не случилось и если он не подвергается никакой опасности, я вернусь.

В противном случае я твердо решил изо всех сил просить его, чтобы он разрешил мне остаться с ним.

Успокой аббата Фортье насчет моего отъезда, только сделай это не сегодня, а завтра, когда пускаться за мной в погоню будет уже поздно.

Что поделать, ты не возвращаешься, и я ухожу. Прощай или, вернее, до свидания.

Затем Себастьян Жильбер, зная бережливость своего друга Питу, погасил свечу, отворил дверь и вышел.

Утверждать, будто Себастьян Жильбер пустился в столь дальнее путешествие без малейшего волнения, значило бы кривить душой; но волновался он совершенно не так, как другой ребенок на его месте: он не испытывал страха, просто он в полной мере сознавал значение своего поступка, состоявшего в том, что он ослушался приказов отца, но в то же время доказывавшего его сыновнюю любовь, а такое ослушание должен простить любой отец.

Впрочем, за то время, что мы не занимались Себастьяном, он вырос. Себастьяну было уже почти пятнадцать, он был, пожалуй, чуть-чуть более бледным, хрупким, нервным, чем положено в его возрасте. Принимая в расчет темперамент Себастьяна и то, что он был сыном Жильбера и Андреа, он был уже почти мужчиной.

Итак, юноша, охваченный этим чувством, неотделимым от поступка, на который он решился, бегом устремился в сторону деревни Ларни, которую мигом заметил в той млечной белизне, что звезды льют с небес, как сказал старик Корнель. Он миновал деревню, пошел по огромному оврагу, который тянется от Ларни до деревни Восьенн и включает в себя пруды Валу; в Восьенне он вышел на большую дорогу и зашагал уже спокойнее, сознавая, что следует путем королей.

Себастьян был очень рассудительный мальчик, он прибыл из Парижа в Виллер-Котре, ведя беседу по-латыни, и потратил на путешествие три дня; он прекрасно понимал, что за одну ночь до Парижа ему не добраться, и не тратил сил попусту на разговоры на каком бы то ни было языке.

Итак, он не спеша спустился с первого восьеннского холма и взошел на второй; затем, выбравшись на ровную дорогу, прибавил шаг.

Быть может, Себастьяна подгоняли мысли о том, что приближается весьма неприятный отрезок пути, который в те времена пользовался скверной репутацией, ныне совершенно утраченной, как идеальное место для засады. Это место зовется Чистый Ключ, потому что там бьет прозрачный источник, а в двадцати шагах от него на дорогу выходят разверстые устья двух каменоломен, подобные двум адским вратам.

Трудно сказать, боялся ли Себастьян, проходя этот кусок пути, потому что он не ускорил шаг и, хотя мог перейти на противоположную сторону дороги, продолжал идти по самой ее середине, а чуть дальше даже зашагал медленнее – несомненно, потому, что дорога пошла немного в гору, – и наконец достиг перекрестка, от которого отходили два пути – в Париж и в Крепи.

Тут он внезапно остановился. Когда он ехал из Парижа, то не заметил, по какой из двух дорог; возвращаясь в Париж, не знал, какую дорогу выбрать.

Идти направо? Или налево?

Обе были обсажены одинаковыми деревьями, обе одинаково вымощены. Обратиться с вопросом было не к кому.

Выходя из одной точки, дороги на глазах быстро расходились в разные стороны; это означало, что в случае, если Себастьян ошибется, наутро он сильно отклонится от верного пути.

Себастьян в нерешительности остановился.

Он пытался найти какую-нибудь приметку, которая позволила бы ему узнать дорогу, по которой он прибыл, но если уж он среди бела дня не мог бы распознать эту приметку, то в темноте он тем более не мог бы ее найти.

В растерянности он уселся на перепутье, отчасти чтобы передохнуть, отчасти чтобы поразмыслить, как вдруг издали, со стороны Виллер-Котре, ему послышался галоп одной или двух лошадей.

Он наострил уши и привстал.

Никакой ошибки: цоканье лошадиных подков по дороге доносилось все отчетливее.

Теперь у Себастьяна было к кому обратиться с вопросом.

Он приготовился остановить всадников и узнать у них дорогу.

Вскоре он завидел в темноте очертания их фигур; из-под копыт лошадей снопами сыпались искры.

Тогда он встал на ноги, пересек ров и стал ждать.

Кавалькада состояла из двух человек, один из них галопом скакал на три-четыре шага впереди другого.

Себастьян с полным основанием решил, что один из них господин, а другой слуга.

Итак, он подошел на три шага, собираясь обратиться к первому.

Тот заметил человека, вынырнувшего, так сказать, из рва, и, подумав, что это засада, потянулся к седельной кобуре.

Себастьян заметил это движение.

– Сударь, – сказал он, – я не грабитель, я мальчик, которого недавние версальские события призывают в Париж: мне нужно разыскать там отца; я не знаю, по какой из этих двух дорог идти; укажите мне, которая из них ведет в Париж, и это будет для меня огромной услугой.

Изысканность, с которой выражался Себастьян, и юношеская звонкость его голоса, показавшегося всаднику знакомым, заставили его придержать коня, невзирая на спешку.

– Дитя мое, – благосклонно спросил он, – кто вы и почему пустились в столь дальний путь среди ночи?

– Я же не спрашиваю вас, сударь, кто вы. Я спрашиваю у вас дорогу – дорогу, в конце которой узнаю, жив мой отец или умер.

В его почти еще ребяческом голосе послышалась твердость, поразившая всадника.

– Друг мой, дорога, по которой мы едем, ведет в Париж, – сказал он, – я сам ее плохо знаю, потому что был в Париже только два раза, но все же совершенно уверен, что это та самая дорога.

Себастьян, поблагодарив, отступил на шаг. Лошадям не хватало дыхания; всадник, который казался господином, снова пустился в путь, но уже не столь быстрым аллюром.

Лакей последовал за ним.

– Господин виконт, – спросил он, – вы узнали этого мальчика?

– Нет, но мне сдается...

– Неужели, господин виконт, вы не узнали юного Себастьяна Жильбера, питомца аббата Фортье?

– Себастьяна Жильбера?

– Ну да, того самого, что время от времени приходил на ферму к мадемуазель Катрин вместе с долговязым Питиу.

– В самом деле, ты прав.

Затем, придержав коня, он обернулся и спросил:

– Так это вы, Себастьян?

– Да, господин Изидор, – отозвался мальчик, поскольку он-то прекрасно узнал всадника.

– Но подойдите же, мой юный друг, – сказал всадник, – и расскажите мне, с какой стати вы очутились один на дороге в столь поздний час.

– Я все вам сказал, господин Изидор: я иду в Париж узнать, жив мой отец или убит.

– Увы, бедное дитя, – с непритворной печалью произнес Изидор, – я еду в Париж по сходной причине, только у меня более нет сомнений!

– Да, я знаю. Ваш брат?..

– Один из моих братьев, мой брат Жорж, был вчера утром убит в Версале!

– Ах! Господин де Шарни!

Себастьян шагнул вперед и простер к Изидору руки.

Изидор взял их в свои и сжал.

– Что ж, милое дитя мое, – заговорил Изидор, – раз уж судьба у нас схожа, нам не стоит разлучаться; должно быть, вы так же, как я, спешите в Париж.

– Очень спешу, сударь!

– Не можете же вы идти пешком.

– Я готов идти пешком, но это было бы слишком долго, поэтому я собираюсь завтра сесть в первую же карету, с которой мне будет по дороге, и, уплатив за проезд, проделать в ней как можно большую часть пути до Парижа.

– А если вы не повстречаете кареты?

– Пойду пешком.

– Лучше, дитя мое, садитесь на лошадь позади моего лакея.

Себастьян отнял руки от рук Изидора.

– Благодарю вас, господин виконт, – сказал он.

Эти слова прозвучали столь выразительно, что Изидор понял, какую обиду нанес мальчику, предложив ему сесть на круп лошади позади его лакея.

– А еще лучше, – сказал он, – вот что: садитесь-ка на его место; он нагонит нас в Париже. Спросит в Тюильри, там ему всегда сообщат, где я.

– Благодарю вас, сударь, – возразил Себастьян уже мягче, потому что ценил деликатность этого нового предложения, – благодарю, но я не хочу, чтобы из-за меня вы лишались его услуг.

Теперь им ничего не оставалось, кроме как прийти к согласию, потому что первые мирные шаги были уже сделаны.

– Ладно, вот что будет лучше всего, Себастьян: забирайтесь-ка на лошадь позади меня. Уже светает; в десять утра мы будем в Даммартене, то есть на полпути; там оставим обеих лошадей под присмотром Батиста – все равно они не смогут скакать дальше, а сами сядем в почтовую карету, которая отвезет нас в Париж. Я так и намеревался поступить, вы ничуть не нарушите моих планов.

– Это правда, господин Изидор?

– Клянусь честью!

– Тогда... – протянул юноша в нерешительности, сгорая от желания согласиться.

– Слезай, Батист, и помоги господину Себастьяну сесть на лошадь.

– Благодарю, это лишнее, господин Изидор, – возразил Себастьян и с проворством школяра вскочил, а вернее, взлетел на круп коня.

Затем трое людей и две лошади галопом пустились дальше и вскоре скрылись за гондревильским холмом.

Глава VIII

Явление

Как было условлено, трое всадников проследовали верхом до Даммартена.

Они прибыли в Даммартен часов в десять.

Всем им необходимо было подкрепиться; к тому же следовало раздобыть карету и почтовых лошадей.

Покуда Изидор и Себастьян сидели за завтраком, протекавшим в молчании, потому что Себастьян снесало беспокойство, а Изидора печаль, Батист распорядился, чтобы лошадей его хозяина почистили, и пустился на поиски двуколки и почтовых лошадей.

В полдень трапеза была завершена, а у дверей ждали лошади и двуколка.

Но Изидор, всегда ездивший на почтовых в собственной карете, не знал, что, когда путешествуешь в почтовых каретах, следует менять экипаж на каждом перегоне.

Поэтому у смотрителей, которые строго заставляли путешественников соблюдать правила, однако отнюдь не стремились соблюдать их сами, не всегда оказывались наготове кареты в каретном сарае и лошади на конюшне.

Так и случилось, что, выехав в полдень из Даммартена, путешественники лишь в половине пятого добрались до заставы, а к воротам Тюильри подкатили только в пять вечера.

Там им еще пришлось доказать, кто они такие: г-н де Лафайет выставил своих людей на все посты и, покуда продолжались беспорядки, добросовестно охранял короля, отвечая перед Национальным собранием за его безопасность.

Тем не менее, едва Шарни назвал и произнес имя брата, препятствия оказались устранены, и Себастьян с Изидором провели во двор Швейцарцев, откуда они перешли во внутренний двор.

Себастьян хотел, чтобы его немедленно проводили на улицу Сент-Оноре, в дом, где жил его отец. Но Изидор возразил, что доктор Жильбер – врач, несущий службу при короле, и при дворе лучше, чем где бы то ни было, известно, что с ним произошло.

Себастьян, судивший всегда непредвзято, сдался на этот довод.

Посему он последовал за Изидором.

В Тюильри, хотя двор прибыл туда только накануне, уже установилось некое подобие этикета. Изидора ввели по парадной лестнице, и придверник предложил ему подождать в большой гостиной, обитой зеленой материей и слабо освещенной двумя канделябрами.

Остальные помещения тонули в полумраке; во дворце всегда жили частные лица, поэтому там пренебрегали ярким освещением, какое бывало в королевских резиденциях.

Придверник должен был разузнать и о графе де Шарни, и о докторе Жильбере.

Мальчик присел на канапе; Изидор принялся расхаживать взад и вперед.

Спустя десять минут вернулся придверник.

Его сиятельство граф де Шарни у королевы.

Что касается доктора Жильбера, с ним ничего не случилось; можно предположить, хотя это и не точно, что он у короля, – дежурный лакей сказал, что король заперся со своим врачом.

Но поскольку у короля, помимо лейб-медика, было еще четыре врача, дежуривших по очереди, никто не знал наверное, находился ли у короля именно г-н Жильбер.

Если это он, то, как только он выйдет, его предупредят, что какой-то человек ждет его в передней у королевы.

Себастьян вздохнул с облегчением: бояться больше нечего, его отец жив, цел и невредим.

Он подошел к Изидору, чтобы поблагодарить его за то, что тот привез его.

Изидор со слезами обнял мальчика.

При мысли о том, что Себастьян вновь обрел отца, ему еще дороже делался брат, которого он утратил и никогда не обретет снова.

В этот миг дверь открылась; один из придворных стражей прокричал:

– Господин виконт де Шарни?

– Это я, – отозвался Ииздор, выступая вперед.

– Господина виконта просят к королеве, – объявил придверник, отступая в сторону.

– Вы меня дождетесь, Себастьян, не правда ли? – спросил Ииздор. – Если вас, конечно, не заберет доктор Жильбер. Помните, что я отвечаю за вас перед вашим отцом.

– Да, сударь, – ответил Себастьян, – и еще раз примите мою благодарность.

Ииздор последовал за провожатым, и дверь затворилась.

Себастьян вновь уселся на канapé.

Теперь, когда он не беспокоился больше за жизнь отца и за себя, благо не сомневался, что доктор простит его, оценив его добрые намерения, мысли мальчика обратились на аббата Фортье, на Питу и на те волнения, которые причинило, должно быть, одному из них бегство Себастьяна, а другому – его письмо.

Он не мог взять в толк, почему Питу – тем более что они так задержались в дороге, – почему Питу, которому довольно было лишь раздвинуть циркуль своих длинных ног, чтобы перегнуть любую почту, не настиг их.

И разумеется, по естественной логике мышления, думая о Питу, он призадумался о том, что его окружает, – об огромных деревьях, о тенистых лесных дорогах, о затянутых синеватой дымкой лесных далях; затем, все более углубляясь в воспоминания, вспомнил он те странные видения, что являлись ему под этими огромными деревьями, под их густой необъятной сенью.

Он думал о женщине, которую столько раз видел во сне и только единожды – по крайней мере, так ему казалось – наяву, в день, когда он гулял по лесам Сатори, а та женщина проехала по лесу и растаяла, как облако, в своей роскошной коляске, влекомой двумя великолепными лошадьми, шедшими галопом.

Он вспомнил глубокое чувство, которое испытал при виде ее, и, наполовину уйдя в эту грезу, тихонько прошептал:

– Матушка! Матушка! Матушка!

Внезапно дверь, затворившаяся за Ииздором де Шарни, вновь распахнулась. На сей раз в ней появилась женщина.

Случилось так, что во время этого явления глаза ребенка были устремлены на дверь.

Явление это так точно совпало с течением его мыслей, что мальчик содрогнулся, видя, что его греза материализовалась и ожила.

Но еще большее потрясение он испытал, когда узнал в вошедшей даме одновременно и призрак, и реальную женщину.

Призрак из его грез – и незнакомку из Сатори.

Он вскочил и вытянулся, словно подброшенный пружиной.

Губы его распахнулись, глаза округлились, зрачки расширились.

Задыхаясь, он тщетно пытался издать хотя бы звук.

Не обращая на него внимания, женщина величественно, гордо, надменно прошла мимо.

При всем наружном спокойствии эта женщина, должно быть, находилась в сильном нервном возбуждении: об этом свидетельствовали нахмуренные брови, шумное дыхание, бледность.

Она пересекла залу наискосок, открыла дверь, противоположную той, в которую вошла, и скрылась в коридоре.

Себастьян понял, что, если он не поспешит, она вновь от него ускользнет. Он растерянно взглянул на дверь, в которую она вошла, на другую, за которой скрылась, словно желал удосто-

вериться в том, что она на самом деле была здесь, и ринулся по ее следам прежде, чем шлейф ее шелкового платья исчез за углом коридора.

Но она, слыша шаги за спиной, прибавила шаг, словно опасаясь преследования.

Себастьян понесся что было сил; в коридоре было темно; он боялся, что дорогое видение снова упорхнет от него.

Слыша, что шаги у нее за спиной стали приближаться, она заспешила еще больше и оглянулась.

Себастьян тихо вскрикнул от радости: это была она, в самом деле она!

Дама же, видя мальчика, с простертыми руками бегущего к ней, и не понимая причин этой погони, бегом бросилась вниз по лестнице, на которую выходил коридор.

Однако не успела она спуститься на один этаж, как Себастьян тоже добежал до конца коридора с криком:

– Сударыня! Сударыня!

Этот голос удивительным образом поразил молодую женщину до глубины ее существа: этот голос, горестный, как ей показалось, и в то же время бесконечно милый, проник к ней в самое сердце, от сердца, вместе с кровью пробежав по жилам, – в каждую частичку ее плоти, и она затрепетала с головы до ног.

Но в то же время, не понимая, зачем он ее зовет и что за чувства ею овладели, она снова ускорила шаг и ударилась в самое настоящее бегство.

Но теперь расстояние между ней и мальчиком сократилось настолько, что ей было не ускользнуть.

До низа лестницы они добежали почти одновременно.

Молодая женщина ринулась во двор; там ее поджидала карета, слуга держал наготове распахнутую дверцу.

Она проворно вскочила в карету и села.

Но прежде чем дверца кареты захлопнулась, Себастьян скользнул между слугой и дверцей и, схватив беглянку за край платья, страстно поцеловал его и воскликнул:

– О сударыня! Сударыня!

Тут молодая женщина посмотрела на очаровательного мальчика, сначала так ее испугавшего, и голосом более мягким, чем обычно, хотя в нем еще слышались и испуг, и волнение, произнесла:

– В чем дело, друг мой? Почему вы за мной бежите, почему вы меня зовете, что вам от меня нужно?

– Я хочу, – задыхаясь, отвечал мальчик, – хочу вас видеть, хочу вас обнять.



И так тихо, чтобы не услышал никто, кроме молодой женщины, добавил:
— Хочу назвать вас матушкой.

Молодая женщина вскрикнула, двумя руками обхватила его голову и, словно в озарении, поспешно притянула его к себе, прижала пылающие губы к его лбу.

Потом, словно в свой черед испугавшись, как бы кто-нибудь не пришел и не отнял у нее дитя, которое она только что нашла, она притянула Себастьяна к себе, так что он оказался в

карете, толкнула его на сиденье напротив, сама захлопнула дверцу и, на мгновение опустив окошко, приказала:

– Ко мне домой, на улицу Цапли, дом девять, первые ворота от улицы Платриер.

Повернувшись к мальчику, она спросила:

– Как тебя зовут?

– Себастьян.

– Иди ко мне, Себастьян, иди ко мне... Сюда, поближе к сердцу...

Потом, откинувшись назад, словно на грани обморока, она прошептала:

– О, что же это за неведомое чувство? Может быть, это и есть счастье?

Глава IX

Павильон Андреа

Вся дорога превратилась в череду поцелуев, которыми осыпали друг друга мать и сын.

Итак, это дитя – ибо сердце ее ни на миг не усомнилось, что это ее сын, – дитя, которое было похищено в страшную ночь, полную тоски и бесчестия, дитя, которое исчезло без следов, не считая отпечатков, оставшихся на снегу от шагов похитителя, дитя, которое она сперва ненавидела, проклинала, пока не услышала его первый крик, не уловила первый плач; дитя, которое она звала, искала, требовала, за которым ее брат, преследуя Жильбера, гнался до самого океана; это дитя, о котором она грустила пятнадцать лет, которое уже отчаялась когда-нибудь увидеть, о котором привыкла думать, как думают об умерших любимых людях, о дорогих тенях; это дитя чудом нашлось, и как раз там, где она меньше всего ожидала его встретить! Чудом сын узнал ее, сам побежал за ней, погнался, назвал ее матушкой! И вот она держит сына в объятиях, прижимает к сердцу! И вот он, ни разу не видевший матери, любит ее сыновней любовью, а она любит его любовью материнской! И губы ее, не ведавшие поцелуев, обретают все радости, каких не было в ее погибшей жизни, в первом поцелуе, который она дарит своему ребенку!

Значит, есть над головами людей нечто большее, нежели пустота, сквозь которую мчатся миры; значит, есть в жизни еще что-то, кроме случая и рока.

«Улица Цапли, дом девять, первые ворота от улицы Платриер», – сказала кучеру графиня де Шарни.

Странное совпадение: спустя четырнадцать лет оно привело мальчика в тот самый дом, где он родился, где сделал первый в жизни вдох и откуда был похищен отцом!

Этот небольшой дом был куплен стариком Таверне в те времена, когда королева почтила семью своей великой милостью и жизнь барона сделалась привольнее; Филипп де Таверне сохранил это жилище, его охранял старик-привратник, который словно был продан прежними владельцами в придачу к дому. Здесь было пристанище молодого человека, когда он возвращался из странствий, и молодой женщины, когда она ночевала в Париже.

После последней сцены, разыгравшейся между Андреа и королевой, после ночи, проведенной рядом с ее величеством, Андреа решила удалиться от соперницы, рикошетом отсылавшей ей все свои страдания, – соперницы, для которой все несчастья, обрушившиеся на королеву, как бы они ни были велики, все же оставались чем-то второстепенным по сравнению с женскими тревожностями.

И вот еще с утра Андреа отрядила служанку в дом на улицу Цапли с приказанием привести в порядок павильон, состоявший, как мы помним, из передней, маленькой столовой, гостиной и спальни.

Когда-то Андреа переделала гостиную во вторую спальню, чтобы разместить Николь рядом с собой; но потом эта надобность отпала и всем комнатам было возвращено их первоначальное предназначение; первый этаж целиком оставался в пользовании Андреа, которая, впрочем, наезжала сюда весьма редко и всегда одна, а горничная довольствовалась небольшой мансардой под самой крышей.

Итак, Андреа извинилась перед королевой за то, что отказывается от спальни, смежной с ее собственной, объяснив, что королева и так живет в тесноте и нуждается скорее в одной из своих горничных, чем в особе, *не слишком тесно связанной с королевской службой*.

Королева ничуть не настаивала на том, чтобы Андреа осталась при ней, а вернее, настаивала ровно столько, сколько подразумевали самые строгие требования приличий; около четырех часов пополудни, когда горничная Андреа явилась с сообщением, что павильон готов, та велела ей немедленно ехать в Версаль, собрать ее вещи, которые Андреа в предотъездной спешке

оставила в покоях, занимаемых ею во дворце, и на другой день привезти все эти вещи на улицу Цапли.

Соответственно, в пять часов графиня де Шарни покинула Тюильри, сочтя, что простилась с королевой утром, когда отказалась от прав на спальню, служившую ей пристанищем одну ночь.

Выходя от королевы, а вернее, из спальни, смежной со спальней королевы, она прошла через Зеленую гостиную, где ждал Себастьян, и, убегая от него, поспешно миновала дворцовые коридоры, а Себастьян настиг ее в карете, которая была заранее заказана горничной и ждала у ворот Тюильри во дворе Принцев.

Все складывалось таким образом, чтобы этот вечер принес Андреа ничем не омраченное счастье. Вместо версальских покоев или спальни в Тюильри, где она не могла бы принять чудом обретенного сына или, во всяком случае, не могла бы без помех предаться изливаниям материнской любви, Андреа очутилась в собственном доме, в отдельном павильоне, без слуги, без горничной, без единого соглядата!

Поэтому она с нескрываемой радостью назвала адрес, который мы привели выше и который послужил поводом ко всему этому отступлению.

Когда по окрику кучера ворота распахнулись и карета остановилась перед павильоном, пробило шесть часов.

Андреа не дождалась даже, когда кучер спустится со своего сиденья; она распахнула дверцу и спрыгнула на первую ступеньку крыльца, увлекая за собой Себастьяна.

Затем, поспешно вручив кучеру чуть не вдвое больше денег, чем ему причиталось, она устремилась в дом, по-прежнему не выпуская руки мальчика, и тщательно затворила за собой дверь передней.

Войдя в гостиную, она остановилась.

Гостиная была освещена только пламенем очага да двумя свечами, горевшими на камине.

Андреа усадила сына рядом с собой на козетку, освещенную лучше всего и свечами, и огнем очага.

Потом в порыве радости, к которой примешивались последние остатки сомнения, она произнесла:

– О дитя мое, дитя мое, это в самом деле ты?

– Матушка! – отозвался Себастьян, лучась радостью, живительной росой окропившей лихорадочно бьющееся сердце Андреа.

– И здесь, здесь! – воскликнула Андреа, обводя глазами ту самую гостиную, где она произвела на свет Себастьяна, и с ужасом бросив взгляд в сторону соседней комнаты, откуда он был похищен.

– Здесь? – переспросил Себастьян. – Что это значит, матушка?

– Это значит, дитя мое, что вот уже скоро пятнадцать лет, как ты родился в этой самой комнате, и я благословляю милосердие Всевышнего, чудом вернувшего тебя сюда спустя пятнадцать лет.

– О да, чудом, – сказал Себастьян, – ведь если бы я не тревожился за жизнь отца, я ни за что не пустился бы в Париж один на ночь глядя; если бы я не пустился так поздно и один, я не задумался бы, по какой из двух дорог пойти; я не стал бы ждать на перекрестке, я не обратился бы с вопросом к проезжавшему мимо господину Изидору де Шарни; он бы не узнал меня, не пригласил ехать в Париж вместе с ним, не привез во дворец Тюильри; а значит, я не увидел бы вас, когда вы проходили через Зеленую гостиную; я не узнал бы вас, не побежал бы за вами, не догнал бы вас и, наконец, я не назвал бы вас матушкой – а до чего приятно, до чего сладостно произносить это слово!

Когда Себастьян произнес «если бы я не тревожился за жизнь отца», у Андреа болезненно сжалось сердце, она закрыла глаза и откинулась назад.

На словах «господин Изидор де Шарни не узнал бы меня, не пригласил ехать в Париж вместе с ним, не привез во дворец Тюильри» глаза ее открылись, у нее отлегло от сердца, а взор обратился к небу: ведь и в самом деле, Себастьян был возвращен ей чудом, и привез его брат ее мужа.

Наконец, когда он сказал «я не назвал бы вас матушкой, а до чего приятно, до чего сладостно произносить это слово», она вновь прижала Себастьяна к груди.

– Да, да, ты прав, дитя мое, – сказала она, – и впрямь, сладостно! Быть может, есть только одно слово, которое произносить еще приятнее и сладостнее, и это слово я твержу, обнимая тебя: сын, сын мой!

И оба примолкли – только губы матери трепетали, прижавшись к сыновнему лбу.

– Но в конце концов, – внезапно воскликнула Андреа, – я не в силах долее терпеть все эти тайны, переполняющие и окружающие меня: ты объяснил мне, как очутился здесь, но не объяснил, как ты меня узнал, почему побежал за мной, почему назвал матушкой.

– Как я могу объяснить? – отвечал Себастьян, устремив на Андреа взгляд, исполненный неизъяснимой любви. – Я сам этого не знаю. Вы говорите о тайнах – я так же, как и вы, окружен тайнами.

– Но кто-то же сказал тебе, когда я шла мимо: «Дитя, вот твоя мать».

– Да, мне это сказала сердце.

– Сердце?

– Послушайте, матушка, я расскажу вам нечто воистину чудесное.

Андреа еще ближе придвинулась к мальчику, возведя глаза к небу и словно благодаря за то, что сын возвращен ей таким чудесным образом.

– Матушка, я знаю вас уже десять лет.

Андреа вздрогнула.

– Вы не понимаете?

Андреа покачала головой.

– Позвольте мне рассказать: у меня иногда бывают странные грезы, отец называет их галлюцинациями.

При упоминании о Жильбере, подобно стальному острию скользнувшему из уст мальчика в ее сердце, Андреа содрогнулась.

– Я видел вас уже раз двадцать, матушка.

– Как это так?

– В тех самых грезах, о которых я вам сейчас говорил.

Андреа в свой черед вспомнила о тех ужасных сонных грезах, омрачавших ее жизнь, – одной из них обязан был жизнью ее мальчик.

– Вообразите, матушка, – продолжал Себастьян, – в самые ранние года, когда я играл с деревенскими детьми и жил в деревне, я видел и слышал то же, что все дети, и окружали меня обыкновенные, настоящие люди и вещи; но как только я покидал деревню, как только миновал последние сады, как только пересекал опушку леса, я чувствовал рядом словно бы шуршание платья; я простирал руки, чтобы за него ухватиться, но хватал только воздух – и тут призрак удалялся. Сперва он оставался незрим, но мало-помалу становился мне виден: в первый миг это был прозрачный туман, облако, похожее на то, каким Вергилий окутал мать Энея, когда она явилась сыну на берегу Карфагена; вскоре этот туман сгущался и принимал форму человеческой фигуры; эта фигура – в ней угадывалась женщина – не ступала по земле, а словно скользила над землей. И неведомая, странная, неодолимая сила влекла меня к ней. Она углублялась в самые темные уголки леса, а я, простирая руки, поспешал следом, молча, как она; и если я пытался ее позвать, голос отказывался повиноваться мне, и так я бежал за ней, а она не останавливалась, и я не мог ее догнать, а потом каким-то чудом понимал, что ее уже нет здесь, как до того чудом чувствовал ее присутствие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.